

ВЛАДИМИР
ДАЛЬ

Упырь

*Страшные легенды, предания
и сказки*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Annotation

Современные читатели знают Владимира Ивановича Даля прежде всего как автора четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка», но крайне мало знакомы с его творческим наследием. Интерес Даля к фольклору — преданиям, поверьям и сказкам нашел отражение во многих его произведениях, о которых Н. В. Гоголь отзывался с восхищением: «По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса». В настоящий сборник вошли произведения Даля, объединенные общей темой: столкновением человека с нечистой силой. Иногда «тайна» получает бытовое объяснение, а иногда читателю должно стать действительно страшно: здесь и колдуны, и русалки, и оборотни, и убийства, и продажа души черту, и кара за безбожное поведение.

- [Владимир ДАЛЬ](#)
 - [С. Денисенко](#)
 - [ДВЕ БЫЛИНЫ](#)
 - [БОГАТЫРСКИЕ МОГИЛЫ](#)
 - [ЗАУМАРКИНА МОГИЛА](#)
 - [ПОСЛУХ](#)
 - [АРХИСТРАТИГ](#)
 - [ПОДЗЕМНОЕ СЕЛО](#)
 - [КЛАД](#)
 - [СКАЗКА О КЛАДЕ](#)
 - [КЛИКУША](#)
 - [ПОЛУНОЩНИК](#)
 - [БАШКИРСКАЯ РУСАЛКА](#)
 - [УПЫРЬ](#)
 - [ЧЕРВОНОРУССКИЕ ПРЕДАНИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
-

Владимир ДАЛЬ

УПЫРЬ

Страшные легенды, предания и сказки

С. Денисенко

ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР ДАЛЬ

Современный читатель знает Владимира Даля — автора «Толкового словаря», но почти совсем не помнит некогда известного писателя, выступавшего под псевдонимом Казак Луганский. Если в XIX в. вышло несколько собраний его сочинений,^[1] то в XX — мы имеем лишь немногочисленные издания избранной прозы.^[2] С большим интересом к Далю-этнографу относились советские периферийные издательства. Но и они обычно перепечатывали из сборника в сборник одни и те же произведения писателя: это несколько сказок и физиологических очерков... Как писал один из современных составителей жизнеописания писателя, «в конце концов, для нас, потомков, Даль — это четыре тома „Толкового словаря живого великорусского языка“, сборник „Пословицы русского народа“. Потомки сами определяют, что для них главное в жизни ушедшего человека».^[3]

С этим как-то не хочется соглашаться.^[4]

В этих заметках нам хотелось бы сделать акцент в первую очередь на писательстве В. И. Даля и привлечь внимание современного читателя к его творчеству произведениями, составившими эту книгу.

Русский писатель, лексикограф, этнограф Владимир Иванович Даль (1801–1872),^[5] сын обрусевших датчанина и немки, родился в местечке Лугане (или Луганском Заводе, ныне г. Луганск) в Малороссии (Екатеринославская губерния) — именно это место впоследствии и дало рождение знаменитому писательскому псевдониму — Казак Луганский. В 1815 г. мальчик был отдан в петербургский Морской кадетский корпус, одно из лучших военно-морских российских заведений. Однако период обучения Даль вспоминал как «годы жизни, убитые мною при корпусном воспитании». «Что скажу о воспитании в корпусе, — писал он в автобиографической записке, — о нем в памяти остались одне розги, так называемые дежурства, где дневал и ночевал барабанщик со скамейкою, назначенною для этой потехи. Трудно ныне поверить, что не было другого исправительного наказания против ошибки, шалости, лени и даже в случае простой бессмысленной досады любого из числа двадцати пяти офицеров».^[6] Детство и жизнь в корпусе позднее отразились в повести «Мичман Поцелуев, или Живучи оглядывайся» (1830-е гг.), во многом автобиографической. Но именно в годы кадетства будущий писатель начал писать стихи.

В 1819 г. Даль был выпущен из корпуса мичманом и назначен в Черноморский флот и уже с этого времени начинает записывать песни, сказки, пословицы, собирать народные слова. («На этой первой поездке моей по Руси я положил бессознательное основание к моему словарю, записывая каждое слово, которое дотоле я не слышал».^[7]) Но служба в Черноморском флоте оказалась недолгой — видимо, Судьба не была расположена к морской карьере будущего писателя. Появившуюся эпиграмму, метившую в молодую любовницу командира Черноморского флота вице-адмирала Грейга, приписали «сочинителю» (так сослуживцы называли мичмана Даля). Несколько месяцев он находился под арестом, был оправдан, но переведен в Балтийский флот, в Кронштадт. Впрочем, через полтора года, в 1826 г., он подает в отставку и поступает на медицинский факультет Дерптского университета. В Дерпте он знакомится и с литераторами — Н. М. Языковым, В. А.

Жуковским, А. Ф. Воейковым и др., продолжает писать стихи, работает над исторической поэмой, даже над одноактными комедиями (они не были опубликованы). В 1827 г. появляется первая публикация стихов Даля в журнале «Славянин». С этих пор некоторое время литература и медицина идут рука об руку в его жизни.

В 1828 г. вспыхивает Русско-турецкая война. Даль еще не прошел полного курса врачебных наук, но ему было сделано исключение и позволено держать экзамен на степень доктора медицины. Успешно сдав экзамен не только на доктора медицины, но и хирургии, молодой медик направляется в действующую армию, где приобретает славу искусного хирурга. И все же находит время собирать материалы для словаря. После окончания войны Даль принимает участие в погашении эпидемии холеры (1831), в польской кампании (1831–1832). В следующем году Даль поступает ординатором в Петербургский военно-сухопутный госпиталь, где и служит несколько лет. «Здесь, — по словам его биографа П. И. Мельникова (Андрея Печерского), — он трудился неутомимо и вскоре приобрел известность замечательного хирурга, особенно же окулиста. Он сделал на своем веку более сорока одних операций снятия катаракты, и все вполне успешно. Замечательно, что у него левая рука была развита настолько же, как и правая. Он мог левою рукой и писать, и делать все, что угодно, как правою. Такая счастливая способность особенно пригодна была для него как оператора. Самые знаменитые в Петербурге операторы приглашали Даля в тех случаях, когда операцию можно было сделать ловчее и удобнее левою рукой».^[8]

Началом писательской карьеры Даля можно считать публикацию его повести «Цыганка» в журнале «Московский телеграф» в 1830 г. (№ 21–22). А в 1832 г. в Петербурге выходят в свет отдельным изданием «Русские сказки», «пяток первый», «разукрашенные Казакон Луганским». Как писал сам автор позднее, «не сказки сами по себе были мне важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода — сказка послужила предлогом. Я задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором, которому открывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке».^[9] Биограф Даля справедливо отмечал, что писатель одной из целей имел «изобразить черты народного быта в неподдельном виде» и что «до рассказов Даля русский простолюдин выводился или в виде пейзажа, чуть не с розовым веночком на голове, как у Карамзина и его подражателей, или в грязном карикатурном виде, как у Булгарина. В то время не было еще ни „Мертвых душ“ Гоголя, ни „Записок охотника“ Тургенева».^[10] Однако тираж книги изымается, а писатель попадает под арест — власти посчитали, что в сказках содержатся насмешки над правительством.^[11] Впрочем, Даль вскоре отпустили, а некоторое количество экземпляров книги сохранилось. Один из них был подарен автором Пушкину. (О взаимоотношениях Даля с Пушкиным, об их совместном путешествии по пугачевским местам в 1833 г., о сюжете «Сказки о Георгии Храбром и о волке» (1836), сообщенном Пушкиным Далю, равно как и о кончине первого русского поэта, при которой присутствовал доктор Даль, имеется обширная литература — мы об этом только упоминаем.)

В 1833 г. Даль женится, оставляет медицинскую практику и отправляется в Оренбургский край в должности чиновника особых поручений. Там он живет восемь лет, там написана большая часть его повестей и рассказов, там собрана большая часть материалов для словаря. На эти и следующие годы приходится, думается, пик популярности Даля-писателя (этому немало способствует выход четырех книжек «Былей и небылиц Казака Владимира Луганского» (1833–1839)). Он постоянно публикует свои произведения в

журналах «Библиотека для чтения», «Отечественные записки». Это и сказки, и повести из русского быта (например, «Бедовик», «Колбасники и бородачи», «Павел Алексеевич Игривый» и др.), и рассказы, основанные на изучении преданий киргизов и уральских казаков («Бикей и Мауляна», «Майна», «Башкирская русалка» и др.). Даль «развивает сделанные им некогда художественные открытия, дополняет их новыми обретениями и с учетом своих обогатившихся представлений о жизни более углубленно отображает окружающую действительность».^[12]

В иллюстрированных сборниках начала 1840-х гг. печатаются первые «физиологические очерки» «Уральский казак» (1843), «Чухонцы в Питере» (1846), «Денщик» (1845) «Петербургский дворник» (1845). В «Повестях, сказках и рассказах» (1846) Даль под одной обложкой объединяет сказки и физиологические очерки. По тонкому наблюдению Ю. П. Фесенко, «новаторская разработка литературной сказки в народном духе, а затем ее использование в качестве основы для русского физиологического очерка и сам очерк открывали надежные перспективы для реалистического освоения действительности. <...>...Сказочное начало сочетается с выверенными бытовыми подробностями и сочным просторечием».^[13]

Н. В. Гоголь так охарактеризовал повествовательный стиль Даля: «Все у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которому производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизамательнейшая повесть. По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса».^[14]

В 1841 г., женившись во второй раз (первая его жена умерла), Даль переезжает в Петербург (он занимает должность секретаря и чиновника особых поручений), а затем, в 1849 г., в Нижний Новгород (в должности управляющего удельной конторой). Далем составлены учебники по зоологии (1847) и ботанике (1849). А за собрание коллекций по флоре и фауне Оренбургского края Даль избирается членом-корреспондентом Академии наук (по отделению естественных наук).

В разное время им написаны сборники рассказов «для народного чтения»: «Солдатские досуги» (1843), «Матросские досуги» (1853), «Два сорока бывальщинок для крестьян» (1862). Как писал биограф Даля, «эти „Досуги“ не были похожи на искусственные в высшей степени, на каждом слове звучащие фальшивой нотой тогдашние рассказы генерала Скобелева, знавшего русского солдата, но не ведавшего русского человека. <...>...Не похожи были и на позднейшие книжки для народного чтения, которые писались и пишутся неумелыми руками либо из-за денег, либо с предвзятыми тенденциями».^[15]

Надо ли говорить, что все это время продолжается работа над словарем. В 1845 г. Даль печатает несколько статей под заглавием «Русский словарь», а в 1861 г. наконец выходит в свет первый выпуск «Толкового словаря живого великорусского языка» (следующие выпуски издавались до 1867 г.), в 1862 г. — «Пословицы русского народа».

В 1859 г. Даль уходит в отставку и живет в Москве. За словарь ученый удостоивается Ломоносовской премии и в 1868 г. избирается почетным членом Академии наук. Последние годы жизни он занимается подготовкой второго издания словаря (это «исправленное и значительно умноженное по рукописи автора» издание в четырех томах увидело свет уже после смерти Даля — в 1880–1882 гг.), пишет «Картины русского быта» для журнала

«Русский вестник» (1867–1868) и работает над «Бытописанием», Пятикнижием Моисея, изложенным для простонародья (рукопись, не пропущенная цензурой, на сегодняшний день не обнаружена).

Собирает народные предания, поверий и сказок, В. И. Даль говорил, что «большая часть тех, кои считают долгом приличия гласно и презрительно насмехаться надо всеми народными предрассудками, без разбора, — сами верят им втихомолку или, по крайней мере, из предосторожности не выезжают со двора в понедельник и не здороваются через порог».

Сравнивая особенности южных и северных преданий о колдунах во вступлении к циклу статей «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» (публиковался в 1843–1846 гг.; позднее издан отдельно в 1880 г.),^[16] Даль отмечал: «Север наш искони славится преимущественно большим числом и разнообразием поверий и суеверий о кудесничестве разного рода. <...> Кудесники и знахари северной полосы отличаются также злобою своею, и все рассказы о них носят на себе этот отпечаток. На юге видим более поэзии, более связных, сказочных и забавных преданий и суеверий. В коих злобные чернокнижники являются только как необходимая прикраса, для яркой противоположности. Нигде не услышите вы столько о порче, изурочении, как на Севере нашем; нигде нет столько затейливых и забавных рассказов, как на Юге».^[17]

Наша подборка из сочинений Даля дает представление об таком «разнообразии поверий», в которых человек сталкивается с потусторонним миром. Иногда Даль обрабатывает сюжет, создавая на его основе собственное произведение. Иногда просто записывает услышанное, сопровождая своими комментариями, как это сделано, например, в очерке «Богатырские могилы»: «Отчего костер сгорает и кто кладет в основание нового памятника два сучка крестом — этого никто не знает; по крайней мере, вы не найдете никого, кто бы это вам сказал. <...> Если мы не согласимся верить вместе с народом в это чудо, то остается предположить либо что распространенное и укоренившееся в народе поверье заставляет того или другого, кого случай наведет в урочное время в то место, зажечь костер и утаить это, обманывая себя и других, как это нередко в суевериях случается, либо что этот обряд всесожжения составляет тайну немногих, соблюдающих в роде своем какое-нибудь заветное предание».

Иногда «тайна» развенчивается, получает бытовое объяснение (как, например, в рассказе «Кликуша»), а иногда читателю должно стать действительно страшно. Здесь и колдуны, и русалки, и оборотни. Здесь и убийства, и продажа души черту, и наказание за безбожное поведение: «Пошла у них попойка такая, что дым коромыслом: празднословят, богохульствуют, перепились, себя не помнят, — а в церкви насупротив служба идет. <...> В это самое время вошел в избу к пирующим незванный гость, непрощеный, с кем, дай Бог, век не встречаться и в былях его не поминать: мохнатый, черный, как есть с рогами, со змеиным хвостом; вошел и наготы своей не прикрыл, только что большой порожний мешок у него под мышкой: не морочить, стало быть, пришел, а уж прямо за своим делом, с обухом» («Подземное село»).

Читая тексты Даля-писателя и увлекаясь ими, вспоминаешь слова Даля-фольклориста: «Всё на свете легче осмеять, чем основательно опровергнуть, иногда даже легче, нежели дать ему веру. Подробное, добросовестное разбирательство, сколько в каком поверье есть или могло быть некогда смысла, на чем оно основано и какую ему теперь должно дать цену

и где указать место, — это не легко. Едва ли, однако же, можно допустить, чтобы поверье, пережившее тысячелетия и принятое миллионами людей за истину, было изобретено и пущено на ветер без всякого смысла и толка. Коли есть поверья, рожденные одним только праздным вымыслом, то их очень немного — и даже у этих поверий есть по крайней мере какой-нибудь источник...»

Сергей Денисенко

ДВЕ БЫЛИНЫ

Память нашего народа коротка — в этом упрекают его не без основания: редко и мало можно услышать у него исторических преданий, особенно преданий древних. Но есть небольшое число замечательных лиц минувших веков, лиц, обратившихся в баснословные видения и живущих в памяти народной в течение нескольких веков: сюда принадлежат, из самых древних, Владимир-князь, а затем и Грозный-царь. Чем реже сказочные предания эти попадают в народе, тем большего они заслуживают внимания, тем более должны мы стараться об отыскании и сохранении их. Вот две былины такого рода: одна о временах Владимира, записана с крестьянского рассказа в Тамбовской губернии, другая — о царе Иване Васильевиче, Архангельской губернии.

Во время князя Красна Солнышка Владимира появился около Киева страшный змей и брал он с народа поборы немалые: с каждого двора по красной девке, с дыму по яголке; а как возьмет девку с чередного двора, так и съест ее — и помин простыл. В такую бедовую годину горе всех уравнило: что жилец, что стрелец, что гость, что боярин, что посадник, что сам царь великий князь — все одно, никому не миновать, что змею-людоеду покориться, красной дочерью поклониться; на кого жребий покажет, с того и побор.

Вот и пришел черед идти к тому змею поганому на съедение самой царской дочери — и пошла. Схватил змей царевну и потащил к себе в берлогу. Взыл народ голосом: то каждый плакал по своей, а тут всем миром воздохнули по царевне. Все думают: пропала дочь нашего Красного Солнышка — теперь уж нет ее на свете, змей съел; но змей не стал ее есть: красавица собой была, какой на свете нет другой, так приберег да за жену себе взял, так и живет.

Полетит он, змей поганый, на свои людоедные промыслы, а царевну завалит в берлоге бревнами, чтоб без него куда не ушла. А у той царевны маленькая собачка была; увязалась за нею из дому царского да с нею в берлоге и живет. Вот и напишет, бывало, царевна грамотку батюшке любезному с матушкой, навяжет собачке этой на шею и махнет, заплакав, рукой, а та побежит да прямо в терем царский, у ворот поскребет, залает, стражники тотчас ворота отпирают, собачку принимают, ведут на пресветлые очи княжеские: царь и царица прочитают, помолятся, что дочь еще жива у них, поплачут, что сгубилась за чудищем, змеем-людоедом, ответную грамотку собачке на шею повесят, та и бежит прямо в берлогу змеиную да тайком от поганого чудища к царевне своей, тишком да молчком, проползет, а та и отвяжет опять грамотку, и весточку разберет, и сердце и душу отведет.

Вот и пишет раз царь с царицей к царевне своей так: «Узнай-де, кто сильнее змея». Царевна и догадалась, к чему это дело пошло, и стала поприветливей к своему лютomu врагу, стала у него по женскому обычаю допытываться, кого он боится, кого не боится и кто его сильнее. Тот хоть и ластится, а долго не говорил; однако против женской пытки устоять трудно; он раз как-то и проговорился, что «есть на свете один только человек, которого я боюсь, да он и сам силы своей не знает, так он мне и не страшен, кабы только кто его не надомил: живет, вишь, в городе престольном, в Киеве, мужик Кожемяка, так этот силен, и страх силен, так что с ним возиться и мне не под силу. Кабы у него была дочь и досталось бы ей по жребию ко мне, так, чай, Кожемяка и не отдал бы, а мне бы за лиху беду стало, и сам бы не знал, что делать».

Как узнала про это царевна, так в ней сердце взыграло. Выждала она, чтоб змей улетел

на свои людоедные промыслы, скорее позвала верную свою собачку, написала записочку: «Сыщите, батюшка, в городе престольном в Киеве мужика Никиту Кожемяку да пошлите его меня из неволи высвободить». И навязала грамотку собачке на шею и махнула белой рукой. Собачка проползла между колодами, которыми змей завалил вход в берлогу, побежала прямо в терем царский и принесла царю желанную весть.

Царь приказал сыскать Никиту Кожемяку и сам пошел, и с царицею, просить его, чтоб он опростал его землю от лютого змея-людоеда и освободил бы царевну. А в ту пору Никита Кожемяка (держал он в руках двенадцать кож), как увидел он, что к нему во двор пришел сам царь, великий князь, сробел, задрожал со страху, руки у него затряслись, он и разорвал за один раз те двенадцать воловьих кож, да сколько ни упрашивали его царь с царицей, не пошел он супротив того змея. «Ты видишь, — говорит он пресветлому князю, — я человек смиренный, робкий, не могу я против змея того бороться, не мужицкое это дело».

Вот и созвал царь думцев своих и приказал им надуматься, как бы и как упросить Никиту, чтоб пошел он на змея; а побить он его сможет: сам змей об этом проговорился. И придумали собрать пять тысяч малолетних детей и послать их просить Никиту Кожемяку, авось на их слезы сжалобится. Пришли малые дети несметной толпой на двор Никиты Кожемяки, стали все на колени и ну просить со слезами, чтоб шел супротив змея; девочки все плачут, говорят: «Дядюшка Никита, спаси, не дай нам подрасти да пропасть; покуда мы вот малы, так ходим и бегаем себе и горя не знаем, а как только которая из нас подрастет, так не на радость отца-матери, а на гибель свою, на смерть лютую от змея поганого людоеда».

Ребятишки тоже плачут, кричат: «Дядюшка Никита, и встать перед тобой не встанем, и с места пс сойдем, и с широкого двора твоего не выйдем, покуда не скажешь нам, что пойдешь побить чудище лютое; у всех у нас сестрицы есть, у всех у нас, как подрастем, невесты будут, да не в радость нам и родителям, — на плач и горе, на съедение змея-людоеда!»

Прослезился и сам мужик Никита Кожемяка, на их слезы глядя. «Что ж, — говорит, — пусть проглотит меня, коли не подавится; авось ловко повернусь, так и в глотке его комом стану. На вас глядеть мне за беду стало. Подите прочь, так я и на змея пойду».

Взял Никита триста пудов пеньки, свил все в один плетешок да насмолил его смолой, и смолы пенька приняла триста пудов; обмотался он весь плетешком этим, чтоб не съел его змей, не исчавакал его за один разок, и пошел на него.

Подходит Никита Кожемяка к берлоге змеиной, а змей увидал его, поджал хвост, и заперся, и не выходит к нему. «Выходи, брат, лучше в чистое поле! — гаркнул Никита Кожемяка. — Не то и берлогу твою размечу на ветер всю». Да и стал было приниматься за работу, колоду за колодой, как лучинки, вытаскивать, чрез себя перекидывать. Змей видит беду неминуемую, что хуже в берлоге задушит его Никита, и вышел к нему в чистое поле.

Долго ли, коротко ли бился со змеем Никита, только повалил его врукопашную; тут змей взмолился ему; «Не бей меня до смерти, Микитушка: сильнее нас с тобой на свете нет, останемся мы жить с тобой, так что добра не сделаем, а худа не увидим: разделим мы с тобой всю землю, весь свет поровну, ты будешь жить в одной половине, я в другой; ни тебе, ни мне обидно не будет». — «Ладно, — сказал Никита Кожемяка, — так надо нам поперек всей земли между проложить, протащешь ли соху?» — «Протащу», — сказал змей. Вот Никита и выковал сошник в триста пудов и сделал по нем соху, запряг змея да и стал из-под Киева между пропахивать; так и провел он борозду от Киева до самого до моря.

Запыхался змей и изнудился; рад, что службе его пришел конец. «Ну, — говорит он Никитушке, теперь мы с тобой всю землю поделили: которая половина будет твоя, которая моя?» — «Землю разделили, — проговорил Никита, а сам змея из сохи не выпускает, — да еще не разделили моря; теперь тащи соху по морю, давай и его межевать, а то скажешь после, что твою воду берут».

Нечего делать змею, поволок змей соху по синему морю; сам плывет, сам голову гребенчатую подымает, кругом озирается, скоро ли тому морю конец. Как въехали они на самую середину моря, так Никита Кожемяка убил того змея и утопил его в море.

Про царскую дочь и говорить нечего, что освободилась она и стала жить да поживать в терему у батюшки. А борозда эта осталась и поныне; она была глубиной в две сажени, а в отвале на столько же вышины; сколько сот лет прошло, а борозду все знать, только помаленьку осыпается и вокруг падут, по обе стороны, а ее не трогают; а кто не знает этого дела, тот называет борозду эту валом, а для чего и кем такой вал сделан — не говорят.

Никита Кожемяка, сделав святое дело, за труд не взял ничего; он опять пошел по-прежнему кожи мять.

* * *

Когда царствовал царь Иван Васильевич, царь Грозный, то литовцы задумали взять Москву. Как тут быть — сила не берет, так пойти на хитрости: не волчий зев, так лисий хвост. Вот они и купили бояр царских, а те и подали царю облыжную жалобу на новгородцев, что они-де смутные, непокорные люди, против царской власти бунтуют, только того и смотрят, где бы и как бы причинить измену; и уговорили царя самому смирать их. Царь и взял с собой губников да палачей московских, Малюту, сына Скуратова, и других, и отправился смирать новгородцев.

Вот царь Иван Васильевич чинит суд страшный и расправу жестокую в Новгороде, а литовцы тем часом подошли, и накрыли Москву, и заняли ее, и правят с нее серебра и золота возами.

В одну ночь лежит Грозный-царь в опочивальне своей, утомившись кровавыми казнями невинных новгородцев. Не может он соснуть, не может глаз сомкнуть и видит не во сне, а въяве: подходит к ложу его могучий воин; и опознал он в воине этом Заневского.

— Чего хочешь? — прошептал испуганный царь. — Поклоняюсь тебе, — а сам лежит, сложа руки на груди, и смотрит.

— Что спишь, царь Иван? — сказал воин. — На вдове твоей сватается жених незваный; она без тебя не знает, идти ли?

Не понял Грозный-царь слов посланника; ночь изошла, страх прошел; наутро пошли опять те же убийства, те же кары и казни. Пришла ночь; ослепленный клеветой крамольных бояр, измученный дневными казнями, царь лег опять на ложе свое, но его опять взял страх, он будто чего-то ждал. В полночь тот же посол и те же слова: «Царь, на вдове твоей сватается жених; она без тебя не знает, идти ли ей, нет ли».

Долго лежал бедный царь, не смыкая глаз, все глядел на то место, где стоял грозный воин; давно уже не было его, но это не сон, царь не спит и не спал; это то же, что было вчера; и вчера ночью не спал он, а видел и слышал живыми очами своими и ушами. Заснул ли, нет ли царь к утру — про то ведает один Бог; а как день настал, так опять губники с

палачами принялись за работу, а Грозный-царь давал суд и ряд и сам отбирал под пыткой допросы. Страшно стало ему, когда увидел, что и этот день уже вечеряет, что пора на покой хоть палачам. Ушел Иван Васильевич в почивальню свою, опять лег и опять ждет гостя.

— Царь Иван, — сказал воин, который на этот раз был страшнее прежнего и так светел, что царь не мог смотреть ему прямо в глаза, — я говорю тебе в последний раз: иди спасать свою вдовицу; виновные у тебя радуются, невинные плачут; страшись гнева Господня: бояре продали тебя, продали твою Москву, продали Русь; иди и казни виновных; там вдова твоя, там она молит тебя о помощи, а не здесь; тут молят о пощаде, а ты ее не даешь.

Царь на этот раз посадил в опочивальню своих трех близких бояр; когда воин изник на месте, то Иван Васильевич, собравшись с силами, перевел дух и спросил: «Видели?» Бояре смотрели на царя, не понимая слов его: они не видели ничего.

— Ну так слышали?

— Нет, не слыхали ничего; только голос пронесся в открытое окно, словно кто вдалеке простонал.

Иван Васильевич сел, замолк и долго смотрел на то место, где уже в третий раз показалось ему загадочное видение. Он вдруг вскочил, велел в ту же ночь всем подыматься, сам прыгнул на богатырского коня своего и поскакал к сирой вдове своей, Москве белокаменной. Избавя и выпроводив из нее незваных гостей, литовцев, он казнил продажных бояр, которые так коварно его обманули, посаженных в темницы новгородцев всех приказал выпустить на свободу, а тех, которые уже были им замучены и казнены, поминать в синодиках.

БОГАТЫРСКИЕ МОГИЛЫ

Сродство и потаенная связь языков, обычаев, поверий и преданий у различных племен и в отдаленных друг от друга местах нередко заставляют нас призадуматься. В Нерехте вы услышите *божать* вместо *желать*, *хотеть*; и только проехав тысячу верст на юг, вы опять услышите нечто похожее на Украине — *бажать* — или в Белоруссии — *бажац*. Глагол *нишнуть*, употребляемый в просторечии почти только в повелительном наклонении — *нишни* (замолчи), также отзывается на Украине в наречии *нищечком* (потихоньку, тихо). Говорят, что древнейшая рукопись сказки или сатиры о *лисе*, обработанной, между прочим, также Гёте, найдена на языке галльском; в Германии сказка эта с незапамятных времен обратилась в народную, и то же находим мы в Великой и Малой России; в наших сказках лиса пускается на одни и те же проделки, как и там. Кто и когда от другого заимствовался?

В России, в нескольких отдаленных друг от друга местах, но, впрочем, все более на севере, находим мы в народе сохранившийся поныне обычай или поверье честить загадочную могилу неизвестного богатыря тем, чтобы, поминая его, когда минуешь могилу эту, бросать на нее что случится под рукой. Это находим мы у Торопца, у Холма, а также на самом севере у Ледовитого океана, у ижемской чуди. Вот что об этом тут и там рассказывают местные жители.

Холмского уезда, вплоть у деревни Изор, при устье впадающего в оную безымянного ручья и при дороге от погоста Канищева к речке Купьей, есть холм, мимо которого не пройдет и не проедет ни один крестьянин того околотка, не кинув, перекрестясь, на бугор этот клочок сена или травы; даже конный сходит на этом месте с лошади, чтобы исполнить заветный обряд. Старожилы говорят, что это ведется с незапамятных времен, в чем и нельзя сомневаться; такой обычай не мог родиться не только в память нынешнего поколения, но даже в память дошедшего до нас предания, — иначе был бы также известен повод к тому и самое время, когда он завелся. Предание говорит только, что это делается в помин погребенного на том месте могучего в свое время богатыря с верным конем его. Если кто не захочет или даже позабудет воздать ему заповедную честь, то он ночью выходит из заповедной могилы своей, на коне и в полном вооружении, и заслоняет великодушному путнику дорогу. И всадник, и конь его необычайного роста, вооружение древнее, шлем и кольчуга с налокотниками; все это блестит ярко; видно, богатырь о сию пору чистится от скуки и бережет сбрую и доспехи свои от ржавчины. Это место называется *сопкою богатыря*, *богатырской сопкой*.

Местоположение вокруг деревни Изор ровное и боровое; по другую сторону реки, в сосновом бору, стоят рядом еще три насыпные сопки, или могилы, но небольшие, немногим выше человека. Вокруг них раскидано множество крестов, грубо вытесанных из дикого камня и по наружному виду их весьма древних. Это место называется *могильниками*. Нет даже и предания о том, чтобы здесь когда-нибудь стояла церковь или было кладбище; но и по другим направлениям вокруг богатырской сопки также рассеяны такие же небольшие курганы, по-видимому насыпные, но без всякого порядка и нередко порознь.

С открытием весны на богатырской сопке оказывается столько сена, что, как крестьяне говорят, стало бы его на прокорм одной лошади во всю зиму; но никогда и никто не посмел свезти этот стожок для потребы своей домой, даже во время большого недостатка корму и трудности прокормить скот. От этого приключилась бы такая беда, что мужики на вопрос об

этом не могли даже придумать, чем бы такой смельчак поплатился.

Почти то же находим и в Торопецком уезде. Тут дорога к Смоленску, между реками Торопою и Двиною, пролегает песчаным берегом, и невдалеке от погоста Бенец виднеются несколько курганов, по-здешнему — сопки, довольно возвышенных и уже поросших лесом. Заметим, впрочем, мимоходом, что последнее обстоятельство не доказывает древности кургана: так называемые французские могилы на пути обратного шествия великой армии также поросли уже соснами в человека толщины. Здесь, однако же, в Торопецком уезде, в память людскую не было никакого события, объясняющего присутствие бенецких сосен; одно предание говорит, что это есть побоище Руси с Литвою, другое, напротив, утверждает, что здесь побита и погребена большая шайка вольницы, истребленной неизвестно когда царским войском.

Подле самой дороги и вблизи курганов есть место, урочище, не означенное ни сопкой, ни другим наружным признаком, а между тем оно живет в памяти народа, и каждый из окружающих жителей его знает. Здесь подвизался с неимоверною храбростью какой-то славный витязь, которого имя забыто, и забыто также, для чего и для кого он положил свой живот; но думать надо, что он стоял за святое дело, иначе бы народ не чтил о сию пору память его: либо он побил Литву, либо разбойников. В старину, по уверению стариков, за него служили панихиды; теперь же поминовение его заменено особым, установившимся за общий обычай, обрядом: каждый из окрестных жителей, минуя это место, считает ненарушимою обязанностью своею отломить ветку от дерева и бросить ее на могилу или на поприще удалого богатыря. В летнее время здесь бывает много езды, и обратившийся в привычку обычай исполняется всяким проезжим, кроме разве чужестранных людей; поэтому костер сучьев нарастает день ото дня и образует наконец большую кучу или курган. Но вот что замечательно: костер этот растет только два года, а на третий сгорает; на пепелище появляются два сучка, сложенные крестом, и они служат основанием нового костра, который накапливается опять также два года, а на третий — сгорает. Так ведется с незапамятных времен. Отчего костер сгорает и кто кладет в основание нового памятника два сучка крестом — этого никто не знает; по крайней мере, вы не найдете никого, кто бы это вам сказал. Крестьяне уверяют, что ни у кого рука не поднимется поджечь костер, хотя ему и суждено сгореть и это должно быть витязю приятно, — но никто, однако же, не посмеет к нему прикоснуться. Старики говорят, что уже за их память это дело идет своим порядком более полустолетия, а при отцах и дедах их было все то же, но что никто не видал, хотя такая огромная куча и должна гореть ярко и довольно долго. Вероятно, это делается зимой, когда летняя дорога покидается и западает снегом, а прокладывается ближайший зимник по болотам и озерам. Это объясняется также, каким образом пылающий костер никогда не разносил лесного пыла или пожара, которого следов не видно на ближайших хвойных деревьях. Если мы не согласимся верить вместе с народом в это чудо, то остается предположить либо что распространенное и укоренившееся в народе поверье заставляет того или другого, кого случай наведет в урочное время в то место, зажечь костер и утаить это, обманывая себя и других, как это нередко в суевериях случается, либо что этот обряд всесожжения составляет тайну немногих, соблюдающих в роде своем какое-нибудь заветное предание.

Теперь перейдем на Ижму и расскажем чудесное предание о *Ягсе* — о злом волхве и богатыре, которого имя осталось поныне в памяти народной, обратившись в нарицательное и означая почти то же в поверии племен этих, что по-вашему леший.

Сажень полтора от селения Ижмы, где между изгородами пролегает по берегу реки дорога, лежит небольшой курган, заваленный хворостом, обломками сучьев, камнями и тому подобным хламом. Кто бы ни шел мимо, всякий бросает на холмик этот что попадается ему под руку; так ведется с незапамятных времен, и народ до того к этому привык, что всякий, не доходя до кургана, оглядывается и запасается вовремя хворостиной, веткой или камнем, потому что вокруг самого кургана чисто и все движимое уже подобрано. Кто бы решился не исполнить этого обычая, на того народ стал бы смотреть как на опасного вольнодумца и безбожника или как на невежду, пренебрегающего священными вековыми обычаями отцов и дедов.

Старики рассказывают, что в прежние времена, которые, как всякому известно, славились чудесами, вокруг этой могилы бродили в осенние темные ночи какие-то страшилища, сверкая раскаленными как уголь глазами и завывая страшными голосами. Иногда на кургане вспыхивал синеватый огонь, и в огне этом видны были яркие, красные, будто налитые кровью глаза. Бывали смельчаки, которые подходили в это время к кургану, но они возвращались оттуда изувеченными и немыми или даже сумасшедшими. И теперь еще курган этот внушает суеверный страх всем окрестным жителям; никто, конечно, не решился бы пройти ночью поблизости его, а всякий делает обходы, осеняясь крестом и молитвой.

В стародавнее время, когда еще ижемцы не знали никаких властей, кроме старших своих, жили рассеянными по дремучим лесам своим, питаясь и одеваясь тем, что добывало копье, лук и стрела, поклонялись каменным и деревянным болванам и назывались одним именем со многими другими племенами — чудью, тогда около этих мест появился Ягса; кто и что он был и откуда взялся — неизвестно. Это был по виду человек, но аршином выше всех других, даже самых рослых людей; голос его был страшен и раздавался по лесам на большое пространство; глаза кровавые, яркие, как огонь; смуглое безобразное лицо, черный и густой жесткий волос, вроде конского хвоста; щетинистая борода; лапищи огромные, следы такие, что человек мог стать в каждый из них обеими ногами; одежда из шкур медведей, которых он бил копьем своим; все это придавало ему страшный вид, и появление этого чудища взволновало мирную чудь, которая дала ему название злого чародея Ягсы. Он никогда и ни с кем не говорил, ходил всегда вооруженный огромным копьем и тяжелой секирой, никто не знал жилья его, все избегали встречи с ним, но он по временам являлся вблизи жилищ для грабежа и разбоя: он убивал людей без причины, ради одного страха и забавы; он угонял скот, уносил детей, которые пропадали без вести, но в особенности преследовал молодых и пригожих девушек, которых высматривал, бродя по ночам вокруг огней, выхватывал из мирной семьи и, перекинув через плечо, как волк овечку, бегом уносил в не известную никому берлогу свою. Это нагнало на жителей такой страх, что люди почти умирали с голоду, не смея идти в лес и к озерам на промыслы из опасения встречи с Ягсой, который в таком случае всегда почти убивал промышленника; девки же прятались постоянно в самые темные углы жилья своего, не смея выказать лица на свет Божий, чтобы не приманить этим страшного и проклятого Ягсу. Но и это их не спасало: он был волхв, от которого трудно было уйти или скрыться. Поворожив, когда ему нужна была жертва, он угадывал, в каком месте или жилье находилась пригожая девка, и, отправившись туда, нападал врасплох на бедных жителей и уносил красавицу, с последним замиранием плача которой западал и слух о ней

навсегда.

Для злых чар своих Ягса разрывал свежие могилы, доставал оттуда трупы и употреблял также кровь невинных детей. Многие до того боялись его, что приписывали ему всякую сверхъестественную власть и силу: злостным могуществом своим он затмевал солнце, навел тучи, распускал дождь, бурю и град, он морил и угонял в подземные вертепы рыбу, загонял зверей и животных и насылал страшную засуху, так что народу иногда нечем было питаться.

Много раз уже чудинцы делали большие сходки, совещались, вызывая стариков и бывалых людей, каким бы способом избавиться от этого злодея; наконец, ходили на него большими толпами, но или, проведя много дней даром, не могли отыскать его, или же дорого платились за смелость свою, если его отыскивали: он побивал множество людей, а сам уходил невредимым. Раз они вздумали вырыть на него огромную волчью яму в таком месте, где он часто проходил и где недалеко был глубокий брод на реке, но Ягса и за это страшно мстил несчастным жителям: он пошел бродить по округности, ловил встречного и поперечного и бросал в эту яму. Таким образом, чудинцы, взявшись за ум, поспешили скорее опять засыпать эту яму.

У старшины одного из селений ижемских была дочь, славившаяся красотой если не по всей земле, то по крайней мере по земле ижемской чуди. Родители хранили ее со всеми возможными для них предосторожностями, но не уберегли: она пропала без вести среди белого дня, а люди видели об эту пору Ягсу издали с какою-то ношей, и никто не мог сомневаться в том, что он избрал жертвою своею несчастную старшинскую дочь. Это произвело такой всеобщий порыв отчаяния, потому что народ любил и уважал доброго старшину и гордился красотой его дочери, что народ собрался в деревню старшины и требовал мести. Когда еще судили и рядили об этом событии и о том, что теперь делать, вдруг прибыл старшинский сын из соседнего околотка с толпою вооруженной молодежи и громко говорил, подымая секиру выше головы своей, что это будет позор неслыханный, если вся чужь не подымется на Ягсу и не отомстит за такое поругание, и что отныне ни одна девушка во всей земле ижемской не взглянет на парня и не позволит ему подойти к себе на десять шагов, покуда Ягса не заплатит жизнью за свою дерзость. Старики, не видя конца этому бедствию, поддержали старшинского сына, и вся молодежь поднялась под предводительством его и двинулась войной на Ягсу, отдав клятву пред истуканами своими: погибнуть до последнего человека или победить. Старики пошли из селения в селение, объявляя поголовщину на этого злодея и назначая место для общего схода.

С разных сторон стали набираться такие толпы, вооруженные копьями, стрелами, секирами и дубинками, будто народ поднялся войною на другой народ, и, глядя на это грозное ополчение, никто бы не поверил, что оно двинулось на одного только человека, который был аршином выше прочих людей, но человек этот в воде не тонул, в огне не горел, и его не донимали ни стрела, ни легкое копье, пущенное из руки; но ходила какая-то темная молва, что он не может устоять против удара изручь, то есть рукопашной битвы, где оружие, которое его поражает, не было брошено в него, а оставалось бы в руках бойца. Конечно, страшно было подступить для такой битвы к сильному чародею, которого многие называли даже *вежемой*, то есть оборотнем; но не менее того такой рукопашной драке чудинцы основали все свои надежды.

Целую неделю чудское войско искало злодея, но он не являлся. Тогда решили залечь в засаду на том месте, где была некогда устроена волчья яма на Ягсу, где был любимый бор его

и где теперь невдалеке находится описанный нами курган. Место это в то время было удалено от всех жилищ и берега Ижмы покрыты вековым бором. Три дня чудинцы сидели в засаде, на четвертый вечером Ягса показался на противном берегу, пощелкал, посвистал и пошел на свой брод. Сердца воинов чудского ополчения замерли от страха; но злоба их и чувство мести воспаляли и ободряли надеждою. Они притаились, выждали Ягсу и встретили его градом стрел, а затем с неистовым криком, чтобы заглушить робость свою и придать себе более духу, пошли врукопашную. Впереди всех бросился отчаянный старшинский сын и первый ударил Ягсу изручъ копьем в грудь. Не выдав еще на себе крови, Ягса как будто оробел и хотел прорваться сквозь окружающую его толпу, побивая из правой руки копьем, а из левой — секирой всякого, кто приближался; но ловкий удар копья старшинского сына ободрил прочих, задние напирали на передних и стискивали все теснее густой круг, обложивший мирового злодея; он отбивался, как раненый медведь, перебил несколько десятков народу, но и сам был сбит с ног и приколот к земле сотнею копий. «Стойте! — закричал бедный старшинский сын умирающим голосом. — Не убивайте его, отрубите ему руки, чтобы сделать безопасным, и заставьте показать, где у него полоненные девушки и старшинская дочь». Это были последние слова его; проколотый насквозь копьем волота, он испустил дух.

Ижемцы послушались его совета и заставили безрукого, искалеченного Ягсу вести их к своему логову. Он молча повиновался и привел их ко входу глубокой пещеры на берегу речки Кучи, протекающей в полуверсте от этого места. Тут нашли нескольких пропавших девушек, а также и дочь старшинскую, но всем им похищение Ягсою стоило жизни: нашли одни только трупы их. Народ горевал, и каждый вымещал теперь на злодее злые дела его, и он должен был переносить все. Разные вещи, награбленные им и также отысканные теперь в пещере, снесли в костер и сожгли; пещеру же завалили камнями и засыпали землей; а ныне никто даже не может указать и места, где была эта пещера. Затем народ отвел проклятого Ягсу опять на то место, где он был полонен, отрубили ему там голову, свалили в яму, пробили между лопатками осиновым колом и засыпали землей.

Вот, по рассказам ижемцев, происхождение небольшого кургана, о котором мы говорили, на который по нынешний день каждый прохожий бросает что ему попадется под руку. Замечательно, что здесь делается это в проклятие и поношение злодею, тогда как в двух других описанных нами случаях обычаем этим почитается память богатырей добродетельных. Может быть, впрочем, это надо понимать и так, что робкие ижемцы воздают Ягсе почет от одного только суеверного страха.

ЗАУМАРКИНА МОГИЛА

Радунца и Семик принадлежат к важнейшим и любимым праздникам устюжан: оба посвящены памяти усопших. Радунцей называется вторник Фоминой недели, в который и во всей великой России совершаются поминки, тогда как на Украине это делается в понедельник. Семиком называется четверток седьмой недели по Пасхе. Тот и другой день празднуются устюжанами при Иоанно-Предтеческом девичьем монастыре с установления при нем в эти дни крестных ходов, или с 1445 года.

За стенами этого монастыря была сосновая роща, отжившая вместе с отцами нашими, но остатки пней о сю пору покрывают неровную местность. Это не тот бор, однако же, который еще до построения монастыря служил местом соколиной охоты для устюжских баскаков; есть, напротив, любопытное и правдоподобное предание, которое объясняет нам, откуда взялся на этом месте небольшой сосновый борок, коего пни доказывают и ныне, что деревья стояли довольно редко и притом большею частию на небольших буграх или насыпях.

На этом месте было в старину, в течение многих веков, покоище, то есть тут погребали умерших без покаяния, скоропостижною смертью, погибших несчастными случаями и самоубийц. Для этого здесь становилась *скудельня* — род часовни и упокойного дома, под которым вырывалась одна общая большая могила, где ставились все, кому суждено было в течение того года лежать не на кладбище, а на покоище и быть погребенным без отпевания. Но человеколюбие и христианское примирение не лишало и этих отверженных части благодатных обрядов своих, совершая их к утешению родственников и ближних один раз в году в виде общего поминовения. Тогда на покоище этом делался крестный ход, в котором участвовал сам преосвященный со всем духовенством, и над общей могилой отправлялась панихида. Это делалось именно в день Семика. Приходские священники по просьбе мирян отправляли после общей панихиды частные. От этого произошло здесь обыкновение посещать в Семик кладбище. По окончании панихид *скудельня* переносилась поблизости на новое место для приготовления другого *зимовища*, как называли эту общую могилу, а старая зарывалась, на ней насыпался небольшой курган, и вместо креста или иного памятника, который вообще у нас не заведено ставить над могилами без покаяния умерших, здесь была посажена молодая сосна. Вот происхождение бывшей монастырской рощи. Время изводит все; в могилах остались одни полуистлевшие кости, а на могилах дуплястые пни, которых вскоре не будет вовсе.

Есть предание, что когда в Устюге свирепствовал мор под названием черной смерти, где болезнь обнаруживалась черными болячками по телу, то многие из жителей, коль скоро только черная немочь на них обнаруживалась, сами уходили за город в *скудельню* и там умирали. Все знали, что спасения от этой болезни не было, что она заразительна и легко передавалась от одного человека другим, и народ, покоряясь этому бичу небес, шел в *скудельню* и, так сказать, заживо сам ложился в могилу свою. Полагают, что это было поводом к основанию *скудельни*, которая впоследствии обратилась в покоище для умерших без совершения над ними таинства и христианских обрядов.

Кроме этого общего *зимовища*, на том же месте было много могил одиночных или семейных, если целое семейство погибало внезапно от какого-либо несчастного случая. Так, например, предание о Заумаркиной могиле еще свежо; на нее укажет вам каждый устюжанин; и пень сосны, посаженной по тогдашнему обычаю на небольшую насыпь,

составляет одну из примет ее. Вот что рассказывают об этой могиле.

Жил-был устюжанин по прозванию Заумарко, житель так называемой здесь горы, человек пьяный и буйный. Никакие увещания родственников не могли его исправить, ни даже склонить малейше к обузданию себя: он пьяный страшно мстил всякому, кто ему трезвому делал упреки или читал наставления, стараясь пробудить в нем совесть. Таким образом все от него отступились, никто не хотел связываться с Заумаркой, ни с пьяным, ни с трезвым, если только он бывал когда-нибудь трезв; всякий обходил его, встречаясь с ним на улице, а через порог к нему не переступал никто.

Но есть связи такого рода, которых человек не в силах разорвать, и была такая несчастная душа, которая должна была жить под одной кровлей с Заумаркою: за ним утопили хорошую девку, которой плач и стоны слышал один только Бог, соседи же были до нее глухи. Этого мало, у нее было еще от Заумарки двое детей, сын и дочь, которых она хоронила от мужа, опасаясь его зверского и безумного сердца. Однажды ранним утром соседи увидели семилетнюю дочь Заумарки перед домом на улице: она стояла спокойно и не сводила глаз с родительского дома. Люди об ней не заботились; многие ходили туда и сюда за суетными нуждами своими и обходили несчастного ребенка, чуждаясь отверженного отца. Уже солнце поднялось в дерево и выше, а девочка стояла все на одном и том же месте, как неживая. Наконец один добрый человек, которому показалось это небывалым, подошел к ней и стал ее расспрашивать; вскоре собралось много народу, все слушали, пожимали плечами, переговаривались шепотом и со страхом поглядывали на Заумаркину избу; ребенок говорил очень просто и ясно, что отец зарезал мать и сына, а сам упал на пол и сгорел. После долгих толков решились войти в избу; ребенок сказал правду: мать и сын были зарезаны и плавали в крови, а безобразные остатки отца, сгоревшего сам собою от вина, лежали на полу. Трех покойников похоронили на известном покое, но в особой могиле; она, как я сказал, и доньше называется Заумаркиной и по общему тогда обычаю украшена была сосной.

ПОСЛУХ

(Предание)

— Куда ты меня завез, проклятый? — кричал барин из коляски на ямщика, который, сидя на козлах, с видимым беспокойством оглядывался во все стороны, покрикивая и понукая лошадей явным образом только для своего ободрения.

— Ничего, вот даст Бог, выберемся, — говорил он. А там опять ворчал про себя довольно внятно: — Ах ты, Господи! что ты будешь делать? Вот наказание за грехи наши! лошадей зарежем совсем.

Ночь была темная. Небо заволокло тучами. Осенний довольно резкий боковой ветер тянулся по равнине, и ободья колес окатились густою, липкою грязью, шириною в пол-аршина. Лошади тянули в упор ступою и пофыркивали. «Ну, будь здоров!» — отзывался по временам ямщик, прибавляя к этому обычному пожеланию иногда другое: «Чтоб те лопнуть!», и, привставая на козлах, опять оглядывался кругом. Наконец он молча слез, а потом, ворча и проклиная неизвестно что и кого, пошел, нагнувшись, бродить по сторонам, покапывая перед собою кнутовищем и отыскивая потерянную дорогу, как булавочку. Барин согнал в помощь ему сонного слугу, сидевшего копной на запятках, а потом с отчаянною решимостью завернулся в шубу и прилег в самый зад коляски.

Через несколько времени голоса в стороне коляски сделались слышнее. Слуга бранился, а ямщик стал веселее и разговорчивее, даже смеялся и много поумнел задним умом. Они нашли какую-то дорогу, и догадливый ямщик рассказывал решительно, подробно и красноречиво, где, как и когда им следовало своротить и придержать правой руки, а поднявшись на гору, не верить глазам своим, потому что глаз обманет, особенно когда не видит ни зги, а верить надо лошадям, которые никогда не обманут, и прочее. К кому относились все наставления и нравоучения эти — неизвестно. Никто не мешал ямщику следовать им в свое время, потому что и барин спал, и слуга спал, и никто из них в распоряжения его не мешался; но, вероятно, и сам он также спал, да и надежные лошади его задремали и протащили коляску Бог знает куда, в сторону.

Как бы то ни было, дорогу нашли, выбрались на нее по пням и кочкам, и ямщик стал покрикивать на лошадей повеселее. Вскоре увидели свет, приехали к жилому месту. Барин все молчал, отдавшись на волю судьбы и ямщика; а этот, не говоря ни слова или, по крайней мере, разговаривая только сам с собою и с лошадьми, слез с козел, постучался в первые ворота, которые ему попались, поговорил с бабой, пришедшею отпирать их, и въехал во двор. Тогда только барин спросил:

— Куда же ты меня привез?

— Да куда привез! — отвечал тот, — куда Бог велел: в деревню привез! Слава Богу, что добрались. На распутье не ночевать стать в экую непогоду. Покормим, да и ободняет, так, даст Бог, подобру-поздорову выберемся.

Это была не деревня, а целое село или, лучше сказать, несколько деревень, собранных в кучку. Дворов сто, с видимою усадьбой и ухожами, составляли вотчину богатого барина, которого несметная дворня с музыкантами и псарями объедали пуще всякой саранчи, так что нечем уплачивать было процентов в опекунский совет. Все остальное по десяткам, по пяткам и даже по парам избушек раздроблено было владельцев на пятнадцать. Ямщик привез нашего путника к одной из таких владетельных особ — вдове старушке, которая сама

жила в крестьянской избе и не отказала проезжему в пристанище.

Барин вышел, весьма недовольный похождениями своими, из коляски; но когда он вошел в избу, где уже осветились окна, то им овладело чувство холи и уютности, которое всегда утешает путника при переходе из-под ненастной темной ночи в теплую и опрятную светелку. Хозяйка была радушна и приветлива, не докучая, впрочем, своею приветливостью; чай был подан без суетни и беготни довольно скоро; самовар не дымился, не чадил, стол — на всех четырех ножках, у чайника не был отшибен ни носик, ни ручка, а шнурок, которым крышечка держалась за ручку эту, был довольно опрятен. При видимой бедности весь передний угол сверху донизу был уставлен иконами в огромном кивоте, на уступе которого лежало несколько священных книг с застешками; на окне было несколько медных копеек, предназначенных для подаяния и оставшихся от прошедшего дня. С женщиной, которая прислуживала, старушка говорила вполголоса, тихо и кротко. Оглянувшись кругом, путник заметил, что изба была чрезвычайно ветха. Он заговорил об этом с хозяйкой, которая сказала ему, что изба срублена еще дедом ее, что она не в состоянии поставить новую, а надеется дожить в ней до конца своего века, которого, по ее мнению, осталось уже не Бог знает сколько.

Приезжему постлали постель в переднем углу. Он улегся и вскоре уснул, между тем как хозяйка легла за перегородкой. Лампадка перед иконами теплилась, свечи были погашены. Усталому путнику приснился какой-то крестный ход, церковное пение и большое стечение народа, но все люди одеты были не так, как ходят живые, а будто в саванах. Одно только священство с причтом облачено было в праздничные ризы. Он проснулся от капли святой воды, брызнувшей ему в лицо при окроплении народа, и, к удивлению своему, увидел наяву продолжение этого сна. В светелку, в которой стены и перегородка как будто были отнесены и терялись в отдалении — по крайней мере, он не мог их ясно отличить, — вошел старый седой священник со святыми дарами, а за ним весь причт. После молебна, в продолжение которого старушка спала спокойно, священник исповедовал и приобщал ее святой тайне, а затем окончил служение. Толпа народу в саванах, малые и великие, дети и старики, женщины и мужчины — все прикладывались после креста к руке старушки, которая во все время не просыпалась, и наконец все исчезло.

Долго лежал проезжий в каком-то недоумении, стараясь прийти в себя и объяснить себе все, что видел; но он не мог отдать себе в этом никакого отчета. Все было тихо и спокойно, стены избы и перегородка на своих местах, лампадка теплилась, едва только бросая тусклый свет; а между тем он видел то, что сейчас происходило, не во сне, а наяву. Наконец он успокоился тем, что явление это во всяком случае не могло быть дурным знамением, а, напротив, разве только хорошим. Усталость взяла верх, и он, хотя и очень поздно, заснул опять крепким сном.

Утром проснулся он, и то будто с каким-то усилием, от призыва по имени и отчеству. Перед ним стоял слуга, подпоясанный и с шапкою в руках, стоял и докладывал, что уже очень поздно, что проспали лучшее время для выезда и что ямщик с нетерпения ворчит. Барин вскочил, опомнился, и видение наперед всего пришло ему на память. Он оглянулся: чайный прибор был поставлен на столе, и женщина вносила закипавший самовар. Хозяйка, опрятно одетая, со спокойным лицом, вышла из-за перегородки, поздоровалась с гостем, спросила, как он почивал, и принялась заваривать чай. Проезжий все еще не мог опомниться, встал, умылся, присел к чаю, поглядывал на хозяйку и не доискивался слов ни для вопроса, ни для ответа. Она, по-видимому, ничего не знала о том, что ночью с нею

сталось, а он не знал, как это понять и что обо всем этом подумать. Напились чаю, слуга вытаскал вещи барина, рассчитались с хозяйкой, которая была до того умеренна в своих требованиях, что никак не хотела принять плату за что-либо, кроме овса и сена. «Хлеб-соль отплатное, взаимное дело, — говорила она, — за хлеб-соль расплачиваться грех». Наконец, по крайнему настоянию проезжего, она согласилась, чтобы он положил деньги сам на окно, где лежало уже несколько мелочи, сказав, что в таком случае они пойдут на раздачу нищим.

Барин сел в коляску в раздумье о ночном приключении; слуга обошел еще раз кругом, осмотрел гайки и винты, поковырял пальцем на одном месте, где, как ему уже давно известно было, недоставало гайки, и, поковыряв, заглянул туда, будто хотел удостовериться, не выросла ли она, может быть, за ночь, потом он уселся на запятках, сказав громко: «С Богом!», и ямщик тронул лошадей. Хозяйка, проводив своего гостя на крыльцо, воротилась в избу.

В эту минуту, когда коляска, едва только выехав из ворот, поворотила направо и поравнялась с самой избой старушки, раздался глухой гул и треск, и вся избушка рухнула в облаке пыли. Первая мысль проезжего была, что перед ним пожар, но вслед за тем он опомнился, закричал «стой!» и, выскочив из коляски, которую испуганные лошади промчали сажень сто дальше, воротился пешком на место происшествия. Изба, в которой он ночевал, обрушилась. Сруб еще стоял отчасти, но вся кровля, со стропилами, с потолком или накатом и переводинами провалилась внутрь. Участие и любопытство заставили проезжего выждать конца: народ сбежался, помещики и помещицы изо всего села сошлись и вскоре разобрали избу и вынесли из нее два трупа — хозяйку и прислужницу ее. Более там никого не было.

Все толковали, иные изумлялись, другие утверждали, что они давно пророчили соседке такой несчастный конец, потому что верхние венцы избы и концы переводин сгнили и светились по ночам мышиным огоньком. Вскоре подошли к толпе и два священника этого села. Народ вообще очень жалел о старухе, крестился и сулил ей Царство Небесное, называя матерью калек и нищих, богобоязненною и христоробивую.

— Все так, — сказал один из священников, — а смерть нехороша: отдала Богу душу без покаяния. Ее отпевать и хоронить на святом месте нельзя.

В числе окружающих нашлись люди, которые в уважение доброй памяти старухи заступились за прах ее и стали упрашивать священников, чтобы ее честно похоронить, как женщину, которую все поминали одним только добром; но священник отказывался, и собрат его с ним соглашался.

Тогда проезжий вдруг вспомнил, чему он в ночи был свидетелем. Подумав немного, он обратился наперед к стоящим тут помещицам и рассказал им ночное похождение. Все слушали его с величайшим любопытством и изумлением, крестились и молились; подойдя к обоим священникам, они просили их выслушать показание проезжего, который повторил гласно то же, рассказав все, что видел, во всей подробности, присовокупив, что готов сейчас же присягнуть в истине своих слов.

— Какой же это был священник? не из нас ли кто-нибудь? — спросил один священник.

— Нет, — отвечал проезжий, — это был низенький старичок, худощавый, в белых кудреватых волосах и с узенькой бородкой почти по пояс.

Все с изумлением взглянули друг на друга, а некоторые от благоговейного страха отступили шаг назад: все узнали в этом описании умершего года за два сельского священника.

Подумав немного и посоветовавшись между собой, священники решили, что, стало

быть, старушка умерла не без покаяния, а исполнив все христианские обязанности, и поэтому она была отпета и похоронена при большом стечении народа как добрая и верная христианка.

Когда наши войска воротились домой из-под Франции, то охочим сказан был отпуск на целый год. Годов с восемь из дому мне вестей не было никаких: не то померли все — Царство им Небесное, — не то живы; а пора была такая, что тут было не до писем. А что, сказал я землякам, пойду и я; денег, благодаря Бога, у меня много, потому что жалованье шло заграничное; хоть повидаться, поотдохнуть да порассказать, каков на свете Париж-город живет.

И пошел. С места наняли мы подводу, а нас было человек десять попутчиков; прошли верст двести, тут отделились от нас трое, а под конец, на границе своей губернии, Курской, осталось нас только двое земляков. Опять-таки наняли было подводу, да в Фатеже товарищ захворал, остался в больнице, а мне выжидать его не приходилось, и я пошел дальше. Одному подводу нанимать не по карману. Не привыкать стать нашему брату журавлем шагать, да и недалече. Я вскинул котомку за плечи, взял посох в руки да и пошел один путем-дорогой. Места не то чтобы знакомые, а все уж не так далеко: верст сто и всего-то от дому, — так и идти как-то стало веселее.

Настигли меня сумерки на большой дороге, за поворотом с фатежской на курскую; а пора была осенняя, глухая, темная: пришлось искать, где б преклонить на ночь усталую головушку. Тут по дороге было много постоялых дворов, и хотя нашему брату служивому эти постоялые дворы не больно сподручны, а выгоднее и спокойнее заходить в деревню к простым мужичкам, да уж делать было нечего, выбирать некогда. Я остановился да стал осматриваться, в которые бы ворота постучаться, навстречу мне идет какой-то, видно, зазывать вышел, да и говорит: «Что, земляк, не ночевать ли?.. Просим милости на хлеб на соль». Я, отозвавшись да отблагодарив, подошел, а он, разглядев, что перед ним служивый, и отворотил было от меня рыло-то: дескать, с вашего брата взятки гладки и за беспокойство поживы не будет!

— Ну, зазвал, — сказал я, — так уж не откидывайся, земляк: ведь я домой пришел, это моя губерния, а что проем — заплачу. Не бойся, на это станет: ведь я из заграничной армии.

Услышав это, он опять подался: стал поласковее; а известное дело, что в те поры все наши из-за границы приходили с деньжонками.

— Ну, — говорит, — с Богом, поди. Вон это двор мой. Скажи хозяйке, что я прислал; а мне надо еще тут побыть: не будет ли обоза; никак под горой кто-то покрикивает.

Вошел я в избу, помолился, поздоровался, гляжу — хозяйка не старая, видная, здоровая.

— Коли хозяин прислал, — говорит, — так с Богом, распоясывайся.

Распоясываться нашему брату служивому нечего: расстегнул шинель походную, да и вся недолга! Поразговорила хозяйка и ласкова стала: то пожалеет за нужду военную, то пошутит да приголубит, про походы расспрашивает и какую кто поживу принес от француза.

— А кому какое счастье послужило, — говорю я. — Известно, что с бою взято, то и свято. Ну и жалованье царское шло нам серебром да золотом.

— Стало быть, и все вы богаты воротились?

— Иной, — говорю, — порастряс все там, то за французскими пуншиками, то с немцами бирки потрынкал, кто во что горазд, благо своя воля.

— Да уж от вашего брата, — говорит, — что путного ждать! что ж, и ты таким же гоголем домой пришел?

— Ну, — говорю, — кто Богу не грешен, царю не виноват, однако я был не из первых гуляк: не то чтобы все прокутил, а помнил и своих. Вот теперь и пришел домой, да коли даст Бог, застану кого в живых, а, надо быть, две сестры мои уж подросли, так я их и уважу, по червончику-другому им на приданое принесу.

Пришел хозяин, а хозяйка подала щей. Как я поглядел на него при огне, что-то больно не по нутру он мне показался. Сказано слово: «С черным в лес не ходи, с рыжим ночи не спи», а уж коли наш брат курский рыжий, так держи ухо остро! Ну, думаю, Господь с ним: мне только бы переночевать да спозаранку убраться.

Пужинал я, помолился, разулся и лег на лавке, а ночевал я у них один: видно, извозчика хозяин не успел зазвать. Засыпая, я только подумал, как-то завтра рассчитаюсь с рыжим. Ну да не пять же рублей он за свои щи слупит с нашего брата! известно, полтиной меди чист будешь, а больше не возьмет.

Уморившись с перехода, как я свалился, когда огонь погасили, так и уснул, только еще прочитал до половины молитву своему ангелу, архистратигу. Вдруг просыпаюсь ночью, таки вот словно кто меня студеной водой окатил, и сразу вскочил на ноги, гляжу — хозяйка вздула огонь да взяла в руки топор, а хозяин с ножом, да оба прямо идут на меня. Пропал я, стало быть, вот в какую берлогу меня Господь принес; а при мне нет ни даже щепочки, чем бы отбиться! И сам не знаю, как и с чего это во мне вдруг взялось, будто кто за меня вымолвил, только я, взмолившись хозяину, говорю: «Что ты делаешь! ведь я не один здесь, ведь нас тут целая рота, меня спохватятся!»

Хозяин мой как будто немного опешил, однако подошел вплоть.

— Поздно теперь, — говорит, — сказки сказывать!.. Какая рота? Молись, да и аминь тебе!

— Чего ты его слушаешь? — закричала хозяйка и сама кинулась на меня с топором.

Я только успел призвать на помощь ангела своего, святого архистратига, как кто-то шибко застучал в ставень, — молчок; а с улицы голос подал кто-то да еще шибче забарабанил.

— Кто там? — закричал хозяин, подняв надо мною нож, чтоб я не поспел крикнуть, между тем как проклятая баба опустила обух и прислушивалась.

— Кто? разве не слышишь?.. Не узнал голоса фельдфебеля? Аль заспался?

— Михайло Ларионов, ты, что ли?

Я, ни жив ни мертв, отозвался.

— Собирайся живее, — продолжал фельдфебель, — рота выступает. Чего зеваешь? Да живо! Не то я подыму!

Рыжий с хозяйкой задрожали, словно лист на осине, да оба разом пали мне в ноги, говоря: «Не погуби, ради Спаса святого, не погуби!..»

Я схватил котомку, сапоги, шапку и выскочил из избы, сам не помня как. Не могу понять по нынешний день, как я отпер впотьмах сенные двери, как растворил ворота либо перескочил через забор, — ничего не знаю. Выбежал на улицу — все темно, ни зги не видать, и никого нет. Я взмолился еще раз своему архангелу и пошел прямо, без оглядки, куда глаза глядят. Вышел на дорогу — отколе ни взялась тройка курьерская, скачет во весь дух прямо на меня: я едва только успел отскочить, да с перепугу закричал что есть силы.

— Стой, стой! — закричал курьер, военный офицер. — Стой! Никак мы кого-то задавили.

— Да чуть было не задавили, ваше благородие! — отозвался я.

— А ты кто таков?

— Служивый, ваше благородие, иду в домовый отпуск; ночь настигла, ваше благородие, сделайте отеческую милость, подвезите...

— Садись, — сказал добрый офицер.

Сели и понеслись. Покуда рассвело, так уж мы были верст двадцать за Курском. Тут я поблагодарил офицера и пошел своим путем в сторону.

— Да кто ж тебя спас от ножа и обуха? — спросили слушатели Михайла Ларионова. — Кто же постучался в ставень и сказался фельдфебелем?

— А вы и не догадались?.. Эх вы, маловерные! Вот то-то и есть! Кто на войне не бывал, тот досыта Богу не маливался! А кому же я взмолился? А кто за меня стоял, держал под своим покровом в сорока сражениях, от вступления французов матушку Россию до самого занятия Парижа?

ПОДЗЕМНОЕ СЕЛО

— Подумаешь, Владимир-городок — Москвы уголок, и далече ли? Рукой подать: всего-то два-десятиста; и на большой дороге, и место торговое. А что-то Божьего благословения нет: никто во Владимире не разживался, истиннику не хватает; купцы перебиваются кой-как и живут, словно только в гости приехали; и город беден, нет там никому, что называется, ни наживы ни покою, ни дна ни покрывки.

— На все, братец ты мой, есть причина, — сказал другой собеседник, — давным-давно, еще, знать, при великих князьях, владимирцы согрешили перед Богом, посамовольничали, не приняли архипастыря, хотели своего, что ли, поставить... хоть и давно было, а вот даром не прошло: и поныне зовут их святогоднами, и никакое дело у них не спорится. Отцы терпкое поели, а внукам оскомина пала...

— Нет, сударь ты мой, — начал третий, — вот Васильсурск городок, так уж на том, видимо, лежит гнев Божий. Город на двух судоходных, рыбных реках, место бойкое, самое торговое, рыболовство хорошее — кто сурской стерляди не знает? Она и в Питере, и в Москве в одной цене с шекснинскою; и сбыт на этом месте всякому товару; вниз и вверх по Суре места хлебобродные, земли обильные, хлебная торговля и обороты в ней большие; проезд на все четыре стороны, разгон такой, что, казалось бы, одними постоянными дворами надо городу разбогатеть. А нет тебе вот ничем-ничего; бедность такая, что разве только с голью потягается, город обнищал, народ измощенничался — гольш на плуте, плут на гольше да плутом и погоняет... А отчего? Нет Божья благословенья. Когда в старинные годы васильсурцы стали вдруг наживаться, как повалила им денюга со всех сторон, так они забыли Бога, забыли и добрых людей. Три церкви у них развалились, а им не до того было, чтобы себя сберегая, позаботиться о Божьем доме; все три церкви до того развалились, что службу остановили. Вот и согрubiли васильцы перед Господом и каются теперь. Что ни деется на свете, все по грехам нашим. За беззаконие и встарь погибали, ныне погибают, да, вишь ты, не верим. Господь долго терпит, да больно бьет. Вот послушайте бывальщину.

В Олонецкой губернии, в глухом бору, среди такого болота, что летом, почитай, езды туда не было, стояли рядом две деревеньки: одна таки коренная была, а другая выселок из нее, как стало тесно. Поляна выдалась чистая, сухая, травная, водопуск гребнем шел поперек, посередине, и только тут по нем и были каменья; а то все хорошая земля, хоть и не так много ее было; да там, брат, и клочок доброй земли в диковину. Одна деревня, на изволоке, — по одну сторону водопуска, другая — по другую; из одной через гребень только виден крест деревянной церковки, которая стояла по ту сторону ската. То коренное село было, а это выселок. Вот как расселились мужички на этом приволье да как принялись бабы рожать детей, оно и опять тесно стало, и земли маловато, пришлось искать промысла. Питер под боком, заработки есть; стали ребята туда ходить, и стало так, что из этих деревень пошли все столяры и конфетчики. Так и завелось: старики и бабы пашут, а молодцы все в Питере, в конфетчиках, да в столярах; а через год либо два идут домой с денежками, на поправку хозяйству; а побывал дома — опять в Питер. Эта шатущая жизнь их, видно, и поразбаловала, и пошло много ребят разгульных и пропойных.

Вот как-то по осени и воротилось их домой из Питера много; пришли ватагой, Богу не помолились, а за вино, за песни да пляски. Деньги с ними были, вот и задумали складчиной погулять. Оно, конечно, попить и погулять после долгой отлучки можно, отпраздновать

то есть благополучный приход и, пожалуй, угостить деревенскую братию, да знай час, и меру, и время; а они затеяли это в Господень праздник да с утра: поп в колокол, а они в ковши. Собрались они все в одну деревню, в село то есть, в ту, где стояла церковь, и все забились в одну избу. Пошла у них попойка такая, что дым коромыслом: празднословят, богохульствуют, перепились, себя не помнят, — а в церкви насупротив служба идет. Соблазнили, окаянные, весь мир: все, вишь, обрадовались приходу своих, никому не захотелось отстать от попойки, так церковь и осталась пустою. Как заблаговестили к достойной, то у них шум и крик поднялся пуще прежнего, инно в церкви слышно стало, и сам священник, смущаемый соблазном великим, оглянулся в ту сторону, откуда слышались крик и песни...

В это самое время вошел в избу к пирующим незваный гость, непрошенный, с кем дай Бог век не встречаться и в былях его не поминать: мохнатый, черный, как есть с рогами, со змеиным хвостом; вошел и наготы своей не прикрыл, только что большой порожний мешок у него под мышкой: не морочить, стало быть, пришел, а уж прямо за своим делом, с обухом. Пришел да и стал в дверях. Мужики мои, пьяны — не пьяны, а все отрезвились, хотят крест сотворить, ан уж и рука не подымается: больно врасплох их, сердечных, застал. Вот он и стал считать их: это мой, говорит, первой, и другой мой, и третий мой, а на которого пальцем укажет, тот и сидит, только головой мотает да глазками хлопает, а уж без рук, без ног, без языка. Пересчитав всех, достал он из-под мышки мешок, встряхнул его да взял вот этак в левую руку, а правой рукой и пошел хватать их да сажать в мешок; возьмет за голову, ровно кочерыжку, приподымет с места да живьем его мешок, а как, слышь, приподымет которого, то руки да ноги ровно плети болтаются...

— А кто ж тут чужой есть? — сказал он, осерчав. — Не нашим духом пахнет.

А на печи сидела девочка хозяйская, годов десяти. Она прижалась, ни жива ни мертва; а как только заревел он, что кто-то чужой есть, то она перекрестись, как мать учила, да кубарем с печи, да в окно, да давай Бог ноги, что есть духу; без оглядки прямо по дорожке бежит и сама не знает, не понимает куда, сама читает «Богородицу», хоть уж не всю, а сколько знала... за собою слышит она грохот, стук, голоса, крик, визг, хохот... Не оглядывается бедняжка, а бежит что есть духу, да перевалась через водопуск, все прямо и, прибежав в ту деревеньку, упала замертво.

Сошлись люди, сбежались соседи, кто не был у обедни, подняли девочку — через силу могла выговорить, что с нею случилось. Слушая ее, нехотя люди стали оглядываться на гребень, на село, да и дивуются: как так? не видать за горой церкви, куда она девалась? Вышли на гребень — нет деревни, нет ничем-ничего. Пар либо дым киселем стоит на том месте. Сдивовался народ, крестится, стоит и смотрит: что это будет?

Стал туман прочищаться, а посредине объявилась гора. Стоит, вот будто спокон веку, а ее не было прежде никогда. На горе сидит черный петух; он захлопал крыльями, прокричал трижды и пропал. Прочистился наконец туман: и места не знать, где деревня стояла, гора на этом месте, а вокруг горы кольцом разлилось озеро, а вокруг озера болото. Так они, мужики мои, поглядели, развели руками и пошли по домам.

Деревня пропала, а к горе и к озеру нет приступу: болото летом не пересыхает, зимою не замерзает. Петух по временам сидит на верхушке на горе, когда туман расстилается понизу, только молчит, не хлопает крыльями, не кричит. В праздники Господни в иную пору слышен звон колокола на озере: то ровно по покойнике перезванивают, то к обедне благовестят, а как зазвонят к достойной, то озеро и забушует, и забурлит... после опять все

утихнет, будто ничего не бывало. Сказывают, что и колокол ину пору по ночам на берег выкатывается и опять уходит на дно; сказывают, будто вся гора на озере плавучая и что ветром подгоняет ее то ближе к одному берегу, то к другому; сказывают еще, будто раз как-то молитвами проходящего инока церковь стала было подыматься и крест уже выказался из воды, тогда петух опять появился на горе, а гора поплыла на то место, где выказался крест, и накрыла все... с тех пор никто более ни церкви, ни креста не видал; а только после сильной бури озеро выкидывает на берег, что выбьет водой из потонувшего села со дна озера: черепья, ночвы, деревянные ложки, берестянки, туески, обечайки. А изо всего села этого никто не спасся, ни одна душа, кроме этой девочки.

Кого не сведут с ума клады, если он только соблазнится раз каким-нибудь сбыточным или несбыточным преданием, рассказом, таинственным слухом или народною молвою и возьмет заступ в руки? Заманчивое и соблазнительное дело! С работы будешь горбат, а не будешь богат; трудись век, едва заработаешь на хлеб. А тут стоит только удачно попасть на след да осторожно и умеючи взяться за дело — с вечера вышел с сумой, а наутро воротился в золоте.

Везде почти бывали, в прежние или в позднейшие времена, различные перевороты, при коих разорялись села и города, разбегался народ: часть имущества он уносил с собой, часть прятал, зарывал в землю, остальное доставалось неприятелю. Все это сохранилось в темных преданиях народа, обратилось для кого в простую сказку, для кого в священное предание, украшенное сказочными добавлениями, и стоит только раз кому-нибудь, разгорячив воображение свое или приняв умышленно таинственный вид, дополнить от себя то, чего в предании недостает, например назвать место, где скрыт мнимый клад, — и предание пойдет в этом виде далее, перейдет даже на потомство и заставит кого-нибудь со временем поискать счастья своего там, где его, вероятно, нет и бывало.

Есть и другого рода поводы подобных преданий: в былое время кой-где важивались шайки разбойников, у которых не бывало ни банков, казначейства, ни даже надежной оседлости, под охраною которой они не могли бы обеспечить богатства, изредка приобретаемые их промыслом, и они зарывали их в землю. На этом основании преступники разного рода, сидя под стражей, нередко сами распускали ложный слух о зарытых ими деньгах в надежде соблазнить и подкупить этим сторожей своих или, по крайней мере, найти случай ускользнуть из-под замка и запора для указания места, где мнимые клады эти зарыты. Наконец, простолюдины наши, не только в старину, и поныне, иногда зарывают деньги свои в горшках и котлах, в берестовых котомках и кувшинах из опасения лишиться богатства своего либо по проискам и вымогательству людей, от коих они зависят, либо от воров, которые с большим искусством разузнают всегда наперед, где именно у такого-то богатого мужика лежат в доме деньги, потом уже до них добираются по готовым и известным им следам.

Как бы то ни было, а все обстоятельства эти поселили в народе необычайное легкое верие ккладам и дали плутам средства прибирать к рукам кладоискателей и, в ожидании мнимого богатства, располагать настоящим имуществом обманутых. Вот источник служащих собственно для этой цели, для мошенничества, *кладовых записей*, составленных будто бы хозяевами кладов для памяти и найденных после их смерти. Этими тайными записями, а иногда и простыми заметками в довольно общих словах, плуты торгуют, вызывая охотников покупать их за наличные деньги и делая еще, сверх того, — более для вида — условия о разделе клада, если бы он отыскался.

Но вот является новое обстоятельство: предание заверило меня, что около такого-то места лежит клад разбойника Кудеяра или даже Ваньки Каина, Гаркуши, Гришки Отрепьева; после долгих стараний и издержек я приобрел наконец и таинственную записку, в которой место это довольно подробно означено, а между тем все труды мои пропадают: я не могу найти ровно ничего, хотя и изрыл уже вокруг всю местность... Объяснение такого явления очень просто: клада этого нет, потому что его и не бывало и никто его не зарывал, но я

этому не хочу верить, а тот, кто меня обманул, и подавно. Итак, клад есть, бесспорно, и надежда еще не потеряна, но он не дается: он положен со *словцом*, с зарокom; его стережет нечистый и выдаст только тому, кто сумеет его взять или кто исполнит зарок... Новая забота, новые догадки, розыски, хлопоты и новый случай поддеть легковверного; идут к знахарю, отыскивают спрыг- или разрыв-траву, от которой все подземные запоры и затворы распадаются, либо — еще лучше — цвет папоротника, при свете коего земля сквозит, делается прозрачною, клады выходят наружу и без всяких хлопот даются в руки.

Между тем нельзя оспаривать, что если не кладоискатели, то другие люди от времени до времени случайно находят неизвестно кем и когда зарытые в землю деньги, — и вот это служит новым торжеством и в то же время предметом зависти и подстрекательством для первых. Например, баба мыла белье на речке, на таком месте, где тысяча баб или, по крайней мере, тысячу раз бабы полоскались до нее; на берегу стоял всем давным-давно знакомый ивовый пенек, который едва только за память стариков когда-то был в сучьях и зелени. В этом пне с таких же едва памятных времен было просторное глубокое дупло, наполненное снизу илом и песком от выступавшей ежегодно речки. Баба складывала белье на пенек этот, а некоторые вещи положила и в самое дупло, коего отверстие становилось с году на год шире; когда же она стала выбирать опять белье свое из дупла, то заметила там какой-то цветной лоскуток, который тянулся из-под песку и разлезся у ней под пальцами, когда она за него потянула; порывшись рукой немного глубже, она вынула глиняный кувшин, наполненный серебром старого чекана. Другой пахал и выпахал из земли завязанное с двух концов голенище, из которого посыпались старинные рублевики; третий рубил избу на новом месте и хотел подкатить, для стула под сруб, изрядной величины камень, который искони лежал на одном месте; под камнем оказалась железная ржавчина и навела мужика на след зарытого тут некогда железного котелка, который уже весь обратился в ржавчину, но в нем стоял еще другой, медный, несколько уцелевший и притом насыпанный вровень с краями древним русским серебром, удельных времен.

Неподалеку селения Сердобского уезда, Саратовской губернии, коренного месторождения всех преданий и поверий о несметных богатствах, зарытых некогда волжскими разбойниками, — около этого селения есть небольшой курган, мимо коего редкий из крестьян повезет вас, не рассказав, что тут лежит невеста какой большой клад, положенный, однако ж, неспроста, а на известное число голов; но как известное число это неизвестно, да притом и никому неведомо, сколько голов уже погибло при безуспешных попытках поднять клад и скоро ли урочное число жертв исполнится, то и никто не знает, скоро ли клад этот дастся кому-нибудь в руки! Между тем один из крестьян этого селения, довольно плохой хозяин и работник, задумал разбогатеть без больших хлопот и придумал вот что: прикормив к себе какого-то сироту, мальчишку, который побирався, мужик мой отправился в полночь — время, в которое только и можно искать клады, — к этому кургану и взял мальчика с собой: он располагал поднять клад *его руками*, с тем, что если надобно еще кому-нибудь сложить голову свою по зарокu, то пусть-де пропадет этот безродный сирота. Пошли, и мужик строго наказал своему товарищу не креститься и не поминать Бога во все время, что они будут работать над кладом, а также не робеть и даже не оглядываться, что бы ни случилось, удостоверяя, что все голоса, которые, может быть, будут слышны в это время, и все страшилища, которые дразнят языком кладокопателя, ничего не смогут сделать, если не робеть и не смотреть на них, потому что все то есть мара, то есть один обман чувств, но стоит только оглянуться или струсить, и нечистая сила тотчас возьмет верх и

одолеет: тогда пропадешь.

По приметам, которые мой мужичок исподволь выпросил или подслушал тут и там, он принялся рыть на известном месте кургана. Ночь была довольно темна и тиха, но небо ясно. В ту минуту, как мужик с наговорами в первый раз ударил заступом в землю, звезды, все до последней, попрятались и уж не видать стало ни зги. Мужик усердно продолжал работу; вдалеке, с полуночной стороны, послышалось отдаленное завывание, и вскоре налетела страшная буря, которая стонала и бушевала по степи и перегнала через курган несколько кустов перекасти-поля. Мужик все еще на робел, даже попытался ударить заступом один из кустов этих, не рассыплется ли он кладом; он уже вырыл яму в колено и, к радости его, буря начала утихать, как вдруг усилились вой и стоны, послышалось множество голосов, конский топот и бряк оружия: ближе, ближе, и на дороге, которая проходила под самым курганом, выстроилась грозная рать, на конях, в старинных доспехах, а глаза у людей и лошадей горели ровно угольки, и пар из ноздрей коней валил огневистый... Только что мужик мой успел струсить, как конная рать эта зашевелилась, встряхнулась, люди все в голос начали кричать непонятные речи, лошади заржали таким голосом, как ржет один только нечистый; затем поднялись стук и бряк, скок и топот, пальба пищалей — и мужик мой, выскочив из ямы, пустился бежать... Грозная рать гналась за ним по пятам до самой околицы. Тут вдруг вся мара исчезла, как в землю провалилась; ночь по-прежнему была тиха и звездиста, и петухи, без которых дело это никогда не обходится, подхватывали и выносили «кукареку» вслед за своим запевалом... И на этом-то поиске бедный сирота пропал без вести, а яма, вырытая мужиком, оказалась заваленною. Полагают, что она обратилась в могилу для сироты, и место это получило название сиротской могилки.

В окрестностях Киева простолюдины также много занимаются кладами, частью городские, частью подгородные. Жил, а может быть, и теперь живет там мещанин, из бывших казаков, Лупопупенко; он в числе многих других, по-видимому, посвятил всю жизнь и малое достояние свое кладоисканию и упорно продолжает дело, несмотря на все неудачи, растрачивая все, что приобретал другими способами. У него хранились в тайниках, между прочим, до десяти железных щупов или буров, разных размеров, и множество землекопных снарядов. Он отправлялся в течение лета с товарищами на розыски и рылся целые ночи напролет, тщательно размеривая, по записям и преданиям, расстояния по разным приметам и запуская в землю свои щупы.

Зима приходила к концу, и Лупопупенко стал опять сильно думать о предстоящих поисках, которых он жаждал, как рыба воды. Надумавшись и взяв тайком от хозяйки кошель с целковыми которые заработаны были в течение зимы мелочною и в особенности табачною торговлей, он наперед всего отправился с Подола в Печерскую часть города, где жил давнишний знакомец его, державший росписи кладам. По словам этого человека, драгоценные росписи составлены были мало-помалу многими лицами, частью уже очень давно, и пополнены достоверными сведениям из предсмертных показаний и покаяний бродяг и разбойников и других лиц, знавших эти тайны.

После первых приветствий Лупопупенко сказал:

— Ну, отец, я пришел за нашим делом: вот деньги тебе, сполна — уж молчи, пожалуйста, чтобы меня еще жена не побила, — да отдай мне записи, как обещал, все пятнадцать; да смотри же, покуда я не обыщу все места, не давай же другой росписи никому; а то ты, пожалуй, спишешь да и другому кому продашь, а мы с ним там и сойдемся, в чистом поле, да друг друга испугаемся.

— Небось, — отвечал тот, — я не такой человек; вот, гляди, как была старенькая бумажка, вот и приписка в разные, давнишние годы, разными чернилами, так она и есть: видишь? Только вот что, Захар Прокофьевич: ведь я, по уговору, на два года продаю тебе роспись; а через два года, то есть вот как ныне, прощенный день Сырой седмицы, хоть ты нашел не нашел что, а роспись мне принеси опять: она заветная; а уж за то, что нашел, все твое, мне, только по-людски да по-божьи, как то есть закон повелевает, одну третью часть отдать, и уж я на совесть твою пошлюсь. Бог накажет, коли обманешь. Прочее все твое; только заручись, что через два года роспись принесешь опять.

Согласились, сосчитали и убрали деньги, выпили по маленькой и принялись оба вместе разбирать свод записей. Вот он, от слова до слова:

1) Закопаны суть деньги на Крещатике, там, где прежде был попов двор, под колодою и под плодовым кустом, в казане.^[18]

2) Тоже закопаны деньги и большое количество серебряной посуды, до 200 пудов, и серебряных ключей, в роще под Киевом, на краю возле Васильковской дороги, между двумя балками, на которых стоит по березе.

3) На лыбедской дороге, в Киеве, которая начинается от рощи в три аршина, закопан казан и глек^[19] червонцев.

4) Посредине рощи, под Киевом, в яру возле сосны, на три аршина от оной, закопан большой горшок карбованцев,^[20] также и малый горшок.

5) В селе Гусачовке, под корчмой, с левой стороны в углу, закопано 4100 рублей. Клад сей положен на 12 индюшечьих голов.

6) На Климовской горе, в Киеве, есть погреб в яру по левый бок от церкви Воздвиженья. В том погребе 14 бочек серебра.

7) В селе Гвоздовке, под корчмою в углу, закопаны с левой стороны 400 червонцев и шпага, облитая золотом. Со словцом.

8) В селе Германовке, у шляхтича Коряского в огороде, в углу, закопан большой казан денег. Место светится тому, кто три дня тощает.

9) В левой бреме^[21] в Киеве, на смежном валу с левой стороны, закопано великое множество серебряной посуды.

10) В Киеве, на Кирилловском поле, есть могила: в той могиле казан и четыре сундука с серебряной посудой и деньгами.

11) В Киеве на роге Детынке, закопан бочонок с червонцами.

12) В Киеве на Крещатике — глек с червонцами, под черемухой.

13) Под рощею, между двумя дорогами, под кривой березою, на запад солнца, третья ступеня^[22] — казан червонцев.

14) Против пригорка к Вышгороду, на долине, три сосны по белому озеру, а на тех соснах приметы: на одной три, на другой две, а на третьей одна посека, или знак. Между ними закопана воловья кожа денег.

15) За Днепром, возле красного трактира, казак, возвращаясь в 1812 году с французской войны, заболел; а близ того есть сосна, а на той сосне казак вырезал саблю и пику, и под тою же сосной выкопал саблей неглубокую яму и положил там в сакве походной большое количество денег, червонцами. Не доехав до дому, он помер, сознавшись священнику...

Перечитав заманчивую роспись эту несколько раз и расспросив хозяина своего, в котором из этих мест было уже искано и каковы были последствия, Лупопупенко раскланялся, выпив на дорогу еще маленькую, и решился вскоре, по разным приметам,

начать поиск свой с № 13. С трудом только достало у него терпения выждать, покуда земля немножко прочахла из-под снега: беспокойство мучило его, и нужда подгоняла; в доме давно уже почти нечего было есть, и жена, зная, что деньги были, и не получая в них никакого отчета, грызла казаку голову и день и ночь.

Место осмотрено было с большою осторожностью днем, несколько раз; две дороги под рощей найдены, а также две или три кривые березы. Лупопупенко мучило сомнение, под которою из этих берез лежит клад; наконец он, однако же, сообразил, что это должно быть под самую толстую, старую березою, и начал готовиться в путь. Обманув жену как и чем мог, он собрал в полночь снаряды свои: щуп, заступ и лом, и отправился под кривую березу. Как он там отмеривал шаги на закат солнца, щупал, где земля порыхлее, и наконец принялся за работу — этого мы в подробности не знаем, но он возвратился домой ночью же, растеряв дорогою лом и заступ, и в таком страшном виде, что жена, прежде еще, чем успела вздуть огня, а как только отворила дверь и услышала дыхание его, перепугалась насмерть. Сперва думала она, что Лупопупенко воротился пьяный, но сама божилась после, что вскоре убедилась в ошибке своей и поносила его понапрасну, и пьян он не был, а насилу опомнился и оклемался. Он уверял после, что глухое завывание по роще вскоре начало раздаваться и усиливалось постепенно, по мере того как он дорывался клада; наконец по лесу пошли огни и такие страшные голоса, что он поневоле оглянулся в сторону, но тогда увидел он вокруг себя такие страсти, что ни подумать об этом, ни пересказать не может. Он не вытерпел, бросил все и побежал; черти гнались за ним, улюлюкая, как по волку, травили его огненными псами, и как ушел он и как попал домой, и сам не помнит.

Но охота искать клады все еще не покидала Лупопупенко, и, потужив с неделю и отдохнув, он опять пошел посоветоваться с тем же приятелем своим из Печоры, а этот, для утешения верителя своего в беде и неудаче, дал ему на придачу еще одну записку, которая указывала самый верный и несомненный клад. Во время киевского большого мора, в 1778 году, говорилось в записи этой, какая-то большая барыня, со всей семьей, домочадцами и пожитками, выехала из города и остановилась на известном месте в лесу, обозначенном двумя толстыми дубами. Но, захватив с собою чуму, все они в лесу перемерли, а деньги и драгоценности наперед зашили в воловьши шкуры и зарыли в землю, вместе с убитыми для этого волами. В записи было также сказано, что щуп на этом месте, на глубине двух аршин, останавливается на воловьих костях.

Итак, решено: Лупопупенко идет за этим кладом, но страх от первой попытки отнял у него несколько храбрости, и потому он решился пригласить с собою двух надежных товарищей.

Пошли, отыскивали два дуба, измерили между ними расстояние шагами и хотя не могли ничего нащупать прутом или буром, но уже решались было без этого приступить к работе, как Лупопупенко, отойдя немного в сторону, среди темной и бурной ночи, вдруг закричал диким и страшным голосом... Товарищей его будто громом оглушило и мотнуло в сторону; без памяти бросились они бежать, и долго еще вслед за ними раздавался пронзительный, отчаянный крик несчастного Лупопупенко, которого, без сомнения, черти терзали по клочку, по волоску...

Прибежав без памяти домой, товарищи, однако же, постепенно опомнились и стали догадываться, что сделали дурно; они созвали еще несколько молодцов и пошли гурьбой выручать у черта казака... Как только подошли они к нечистому месту и подали робкий голос, как в ту же минуту бедный Лупопупенко стал отзываться настоящим волком; они

подошли несколько ближе и стали с ним перекликаться и переговариваться; он звал их на помощь, уверяя, что он гибнет совсем, что скоро дух испустит, если его не выручат; а они, не желая связываться с таким опасным и непосильным врагом, не решались подойти... Мало-помалу, однако же, он умолил их раздуть огня и идти к нему всем вместе, осенясь крестным знамением и читая молитву ангелу-хранителю; робко приближалась толпа, и наконец увидели, что бедный Лупопупенко нашел клад; он попал в волчий капкан.

Кто бы разуверил его, если бы он сам как-нибудь вырвался и ушел, что его не черт поймал зубами за ногу? И сам он догадался, в чем дело, тогда только, когда товарищи подошли с огнем и осветили казака в капкане.

— Ну, капкан так капкан, — сказал он. — А черт таки не дал мне спуска: страсти были неопишуемые, невообразимые, по дьявольскому наваждению; и я стоял против нечистой силы носом к носу и не мог тронуться с места! Несите меня, братцы, домой... Что-то хозяйка скажет?

СКАЗКА О КЛАДЕ

(Богатырская сказка)

Как подумаешь да порассудишь, что иной гольщ, бедняк бьется из-за последней деньги, из-за куска хлеба, колотится, что козел об ясли, весь век, да и то, бывает, не добьется до торной тропы, чтобы пройтись, как люди ходят; а иной, Господень крестник, только шапку наставит, и валится всякое добро и милость, живи да поживай. Как подумаешь, подгорюнясь, про эту притчу, так поневоле и сядешь, надувшись, как волостной наш, коли его кто обнесет случаем чаркой, сядешь, да и переведешь дух, что кузнечный мех, да повесишь голову и сидишь.

Мужичок, сказывают, живучи где-то в понизовом захолустье, так же, по-нашему, все тужил да тужил, что ему талану нет; а все, вишь, хотелось разжиться так, ни с чего, здорово живешь; не то чтобы работой да потом, а сидючи-глядючи, по белу свету гуляючи, пляшучи да припеваючи; и задумал он разбогатеть кладом. Наладил он песню ли, сказку ли про этот клад, да все и читает ее одну, словно вековую докучную сказку про Сашку Серую Сермяжку; и бредит кладом, и здоровается с тобою кладом же, и прощается кладом, и куска, прости Господи, ко рту не поднесет, не помянув, хоть про себя, клад. Чему же быть тут доброму, коли человеку дурью глаза и уши запорошило, голову набило по самое темя? Люди берутся за цеп, за косу, а он персты расставит пошире, словно грабли, уши развесит да так и ходит по селу дурак-дураком; только норовит, где бы какого старика поймать, чтоб порассказать ему, какие клады бывают, да где живут они, да кому даются, а кому не даются; и в одну ночь, чай, проштался молодец наш, клада ищучи, то к Лукашкину яру, то под Заячий лаз, то на Мурзинский курган, да, видно, не дается клад: молодец наш ходит все тем же оборванцем в сермяжном зипунишке, что на одной подкладке держится, а то бы давно развалился.

Первые клады в понизовых губерниях положили, сказывают, волжские разбойники. Выедут они, бывало, ночью на матушку-Волгу широкую в *косной* лодке да прикроются сверху рогожами, чтоб не видать было народа, и только вóззрятся на расшиву какую либо в дощаник, в кладную, то и держат прямо в корму. Коли кормщик на путевом судне по обычаю окликнет их: «Мир, Бог на помочь» да «Откуда Бог несет?», а потом: «Чье судно, чья кладь, откуда бурлаки?», то чем бы и как добрым людям, отвечать: «Вам Бог на помочь, — оттуда-то, хозяин такой-то, кладь такая-то», да выждать напутного слова: «С Богом!», да и идти себе своим путем, так разбойники молчат, говорю, на оклик да держатся прямо в корму, а подошедши, кидают причал, а атаман кричит: «Бери причал!» Бурлаки знают, что разбойника ни одна пуля не берет, обух не одолеет; принимают молча причал и на приказ атамана «*Сарын на кичку*» все до одного прячутся в *мурью* — в порожнее место промеж палубой и кладью. Хозяин тут управляйся один, как знаешь, а бурлаки ни за что на разбойника руки не подымут. Разбойники влезают на судно, берут хозяина либо приказчика, кто случится, и допытывают: «Где деньги?», а коли устойчив больно да упрям, так бывало и то, что поджаривали на легоньком огоньке. Набравши золота и серебра много, случалось, что разбойникам девать его некуда; они и зарывали его в землю и писали на клады эти *записки*, где лежит клад и кому он дается; вот, например, запись на клад: «От села Свекловихина на полдни, в семи верстах от Красного яру, супротив большого каменного мару, в двухстах семнадцати шагах, а от раздвоившейся березы в сорока семи шагах, положено кладом, в двух чайниках медных да в котле чугунном, на глубине косой сажени,

золотом на двадцать одну тысячу, серебром на семнадцать с половиною тысяч, да золотых с камнями дорогими перстней два. А клад этот никому не дастся, только дастся он молодому удалому накануне Ивана Купала, коли задом пройдет от самого села до места и станет рыть, не оглядываясь, не озираючись, да обет положит выкупить трех человек из острога, да господских троих на волю вольную. А буде зарок не выполнит, то клад пропадет, в него самого уйдет и огнем вьестся, и в костях мозга усохнут. Слово мое крепко». А какой зарок либо завет кто положит на клад, такое слово и твердит про себя, когда клад зарывает; затем уже клад не дастся тебе, коли завету не исполнишь, во веки веков. Сказывают, что один какой-то обронил запись такую, а мужик нашел ее, вынул клад, сам пропадал без вести сорок лет, а воротившись, выкупил у господина на волю всю деревню свою. Другой клал клад и приговаривал: «На сто голов молодецких», то есть чтобы сто молодцов пришли за кладом этим, а больше он никому не дастся, а лыкодер в лесу тут же подле случился да переговаривал за каждым словом по-своему: «На сто колов осиновых»; переговорив хозяина одним разом — а кто какое слово напоследок вымолвит, по тому и быть, — лыкодер вырубил сто колов осиновых, поклонился ими кладу да и вынул его, и клад ему дался без спору. Опять другой, сказывают, положил клад богатый да не велел даваться никому, поколе на этом месте станет море. Мужичок этот помер, а запись досталась сыну, да только не знал он, как с нею быть и как добыть клад. На селе этом жил мужик, про которого шла молва что он всякую пору и причину знает и оборот во всяком деле; к нему и пришел с записью молодой парень на совет да и прогулял по недогадливости своей клад. Мужик этот провел парня — то тем, то другим его пробавил, а как весна пришла, так подпрудил место, где положен был клад, заметив его колом, да под водой и вынул. Вот-де тебе и море! Есть где-то, сказывают, пугачевский клад; положен в мешке кожаном, а мешок в рубаху, а поверх кладу положен убитый человек нарочно, — видно, чтобы кто рыть станет, подумал, что это-де могила, и покинул бы ее. А это еще слышал кто, что есть жук, который летает ночью накануне Иванова дня и сам норовит налететь на человека: коли рот растворишь да подставишь его и жук влетит, то выплюнь на руку, и у тебя богатый клад; сыпь скорее с руки в мешок либо в шапку да во все карманы — посыплется чистое золото.

Иные кладут благочестивый клад с молитвою, а чаще того, спознавшись с нечистой силой, с бесовскою властью; тогда уже не вынет его никто, не отдав души черту. Много есть кладов татарских и калмыцких старых годов: так к тем уже не приступайся без шайтана либо веди такого ж некрещеного татарина. Эти клады живут без записи, но не вынешь, хоть и знал бы, где лежит, коли с шайтаном не побратаешься. Есть и такие клады, что займы дают; приди, попроси честно, с поклоном: дай-де, пожалуйста, кум, сотенку, я принесу тебе накануне Рождества либо там в Духов день, что ли, — и дастся, да только если, упаси Боже, обманешь, так пропал: помрешь, либо рука усохнет, а не то сам пойдешь по свету белому кладом ходить до поры до времени, поколе кто не ударит тебя, как в драку пьяный полезешь, по щеке, тогда сам и рассыплешься кладом. А есть и такие ходячие клады: мужик, сказывают, ночью нашатнулся на какую-то сапатую кобылу да хотел отогнать ее, ударил кнутовищем — она и рассыпалась кладом, да все старинными золотыми да крестовиками. Другой мужик этак же хотел ночью свинью выгнать из огорода и, Бог весть, говорит, отколе она затесалась: тын плотный кругом, что и кошке негде пролезть, и калиточка на запоре, а хрюкает, ходит да по грядам роется. Мужик выскочил из избы, ухватил полено, шарахнул свинью вдоль по боку — она и рассыпалась кладом, да таким, что десять огородов можно купить да по десятку работников еще на каждый. А то есть и такой клад, что ни с чем не

дается, как только по своей по доброй воле; кто знает, где он лежит, так ходят о полуночи туда да упрашивают его и кумом честят; ино раз десять побывать доведется да потолковать с ним, поколе покажешься ему, да приглянешься, да ему угодишь; а сдастся, так твой, бери смело.

Всего этого, а может еще и побольше того, наслушался молодец наш, словно сыворотки нахлебался: брюхо набито, а ни вкусу, ни проку; уже ничего не слышит, не видит, кроме клада. Одно на уме, одно на языке. Человек видит свинью либо другую какую скотину, так подумает, может статья, ину пору — кого грешная дума не одолела, — подумает разве только, что вот-де, кабы она моя, так я бы ее на рынок свез да продал, либо вот, кабы моя свинья, так откормил бы ее к праздникам да зарезал, уж по крайности знал бы и помнил, что Бог дал праздник; так подумал бы, говорю, иной человек; а наш молодец, на котором лохмотья серой сермяги держались, как листья кочана капусты вокруг кочерыжки, не иглой да ниткой, а тем, что приросли, наш молодец все только, как увидит свинку, то и норовит свистнуть ее из-за угла поленом — не рассыплется ли кладом? А тут, глядишь, по рылу заденет ее поленом, она и околела, и разделявайся да ведайся с хозяином, как знаешь. Так-то не раз, бывало, отомнут нашему молодцу за проказы эти бока, что он про себя думает: хоть бы уж самому мне кладом рассыпаться, так уж был бы один конец! Сказывают, что сделал молодец наш раз как-то еще лучше: повстречал он на чужом селе немого старика нищего, и померещилось ему, что это ходячий клад; он, подошедши, да и давай его, бедняка, колотить, а тот нем, слова не вымолвит, ревет не своим голосом, а сказать ничего не скажет. Тут набежали ребята, схватили раба Божьего, искателя клада, валяли его часа два, словно гвардейское сукно, да еще и затаскали было по судам да волостным правлениям, так что вышел он оттуда — еле-еле душа в заплатах держится, весь костяк наружу вылез. Кажись бы, это ли не наука ему? так нет; отдохнул да перемогся — и забыл прошлое горе и готов хоть ныне, хоть завтра опять за кладом идти. То-то забывчив на прошлую беду русский человек: и крута гора, да забывчива!

Подсиживал молодец наш и папоротниковый цвет, выжидал его, как пылинка в засуху росинку, — не дался; собирал и семитравный травник — либо не досушил, либо пересушил, а кладу не доискался; выходил и до зари по ночам подстеречь да высмотреть, на каком месте в сухих буераках черти поминки поминают, потому что слышал от старых людей, что там быть и кладу, — не доискался и чертей; искал он и разрыв- либо спрыг-травы, которую называют и железняком и от которой все запоры и затворы разлетаются и клады сами в руки даются, — так не далась ему и трава эта, Бог весть отчего; словом пришлось нашему искателю хоть камень на шею да в воду, коли б шайтан его не помиловал; слушайте.

На самого Ивана Купала, когда настоящая пора бывает клады искать, молодец наш пошел в ночи в раздумье, куда глаза глядят, и стал думать про себя уже вот что: когда б то найти мне хоть такого сатану, что, сказывают, душу берет да чистым золотом за нее расплачивается, ах, когда б найти! — не пожалел бы душишки своей, отдал бы черту, хоть самому ледащему, только бы отсыпал он мне шапки две этого добра, ей, не пожалел бы душишки, ниже для последнего поганца, которого, может статья, там, на низу, и в ломаный грош не ставят, и бьют, и обделяют, и немного душишек на его долю достается.

Не успел так подумать молодец наш, как, не к ночи рассказывать, закрутился перед ним вихор столбиком, круче да круче, гуще да гуще, вспыхнуло с исподу, от земли полымя, пробежало, словно зарево, по черному столбу — и вышел из него, отряхиваясь, человек. На нем смурая епанча какая-то, не то хламида, алая жилетка, смущатая высокая черная шапка

с алым верхом, а сапоги с превысокими подборами, так что след по дороге оставался не от всей ступни, а только от каблуков подкованных, да подкованных больно хитро: душкой наперед, а шипами назад. Молодец наш поглядел на него — обдало его, молодца-то, мурашками, однако пошел вперед как ни в чем не бывало. Тот пристал к нему, словно попутчик какой, идет рядом и заговаривает. Молодец всмотрелся в него — рожа черная, рыло широкое, глаза навывкате, брови облезлые, борода щетинистая, уши лопастью, лоб поперек раздвоился, да из-под шапки комли рогов выглядывают; а как стал господин попутчик кутаться в хламиду да хоронить туда морду, чтобы Герасим не так бойко вглядывался, так показались и лапы перепончатые, словно лягушачьи, да с когтями вершка в полтора. «Молчи, — подумал Герасим (а так звали нашего молодца, хоть сколько ни таились, а пришлось сказать), — молчи, — подумал он, — смекаем и мы кое-что: будем сватами, ударим по рукам».

Слово за словом — попутчик зовет уже Герасима к себе в гости.

— И дам, — говорит, — тебе, чего хочется, добуду все это и достану, только и ты мне прислужись, не откажи.

— Чего хочешь, — отвечает Герасим, — того и проси; я ль тебе не слуга буду? весь твой, на веки веков, только дай ты мне натешиться добром своим, чтоб был я в людях человеком, чтоб была и мне честь не хуже других; дай ты мне найти клад, укажи, где он лежит, да пособи вынуть!

— Что клад, — сказал на это попутчик, — у нас есть добра этого довольно, найдется достаточное число-количество, не рывшись за ним далеко.

А сам тряхнул на ходу одной рукой, тряхнул другою — полны горсти золота. У нашего молодца сердце так и замерло; как увидал он это, ино вперед попутчика забегают по тропинке, да задом ногами частит, да умаливает и упрашивает:

— Поделись, сватушка, поделись, куманек, век служить буду.

— Это что, — сказал опять попутчик, — из-за этакой щепоти нечего и рук марать; нет, мы найдем и почище этого. Да ты, признаться, сегодня очень кстати пришел: в эту ночь мы проверяем клады, пересчитываем их, все ли живы-здоровы и целы; так ты, коли пойдешь со мною, сам увидишь, что у нас этого добра, как говорится по-вашему, тьма и пропасть. По-вашему, конечно, такие слова означают совсем не то; у нас свой язык, прямой, ясный, без всяких затей. Мы говорим промеж собою на всех языках и наречиях, да только половину слов из обихода своего выкидываем вовсе, а понимаем друг друга не хуже вашего. Сами ж вы или мудрецы ваши твердят: всякое излишество зло, и пилите, и мучите поговоркой этой и себя, и друг друга, а сами же ни в чем меры не знаете; да после еще плачетесь на беду свою, коли мы в подземных чертогах своих поем вашу же песню: «А нашего полку прибыло!» Смешной вы народ, право, смешной: и хочется, и колется — по этой поговорке своей живете вы от зыбки до могилы; вот хоть твоя милость, например, половину века отжил, добра никакого в глаза не видал, а не попадись я тебе теперь, так и пропадал бы ты и бедовал в свою голову до самой могилы, а все бы чертогов наших не миновал, потому что, сам знаешь, живучи не спасался.

— Дядюшка, — отозвался молодец наш, — дядюшка, да я ли не ухаживал за вами, я ли не напрашивался, возьмите меня-де с начинкой, со всем, и душу, и тело, как вот стою перед вами; что же я делать стану, коли не допросился, не домолился вас?

Черт плюнул трижды и продолжал:

— Вот то-то, видишь, бестолковый вы народ: я говорю, что и хочется, и колется, вы все

мешаете одно с другим; вам бы этак хотелось выкроить, чтоб и волки сыты были, и овцы целы, пробраться средней дорожкой; за нашего брата хватаетесь, а невесть что поминаете, да по сторонам оглядываетесь, кому бы еще про запас поклониться, чтобы на случай неудачи было куда приютиться да чтобы после на нашего брата поклеп наклепать, небылицу взвести, будто-де не по своей воле за эту грамоту взялся, а мы, вишь, соблазнили. Соблазнили! ах вы, горемычные! коли б вы нас сами не затрагивали да двуязычием своим ину пору в беду не вводили, так кто бы стал занимать вас и какой бы черт стал вам кланяться да в батраки записываться, вот как я теперь, да потешать вас и все прихоти ваши и причуды? Нет, сосед, у нас так нельзя; середка на половине — это не приходится; этак не попадешь ни туда ни сюда, а черт знает куда, как вы же говорите: наш так наш, так уже и будем знать, что наш; а не наш, так так и скажи.

— Да ваш же, дядюшка, ваш, весь вот как теперь перед вами; и рожки прикажите мне приставить, коли хотите, только, пожалуйста, не больно великие, чтобы, знаете, хоть под шапкой их не видать было: я и от этого не прочь; что хотите, то и делайте.

— Не в рожках сила, — отвечал сосед, — вы все, вишь, не то городите. Пожалуй, другой у вас и в рожках ходит, да не сюда глядит, а тоже тоскует о всякой всячине. Нет, ты ходи в чем хочешь; постный покрой нашему брату не помеха; мы и сами иногда... Ну да об этом после; вот видишь, гляди-ка сюда, мы дошли до места: есть по чему глазам твоим поразбежаться!

Молодец наш оглянулся — и дух в нем замер от радости; так вот льдом и окатило, а после кипятком. Земля перед ними расступилась, и открылся вертеп весь в огнях цветных, так что глазам не дает глянуть. Черти, и малые, и большие таскают мешки в кучу, да котлы, да сундуки; один ходит со связкой ключей, да отпирает, да свидетельствует замки и печати, да сымает их; прочие высыпают золото, серебро, дорогие каменья да уже не счетом считают, — куда! тут не найдешь никакого счета! — а гарнцами пересыпают да мерками и четвериками. Голова ты моя, головушка! что за пропасть добра, серебра да золота: словно утроба земная перед тобою разверзлась и кажет все сокровища свои, которые накопила со дня мироздания! Страшно глянуть было на богатство это; нашего Герасима взяла бить лихоманка, таки не выждет, думается, не доживет того часу, когда черт наделит его сам этим добром. А черти, как увидали, что привели к ним нового товарища, так вот так и забегали, словно мыши в подполье, и давай пересыпать перед гостем золото из кадки в кадку, из мерки в меру.

«Шабаш! — сказал Гераськин товарищ. — Надо отдохнуть да повеселиться». И все черти покинули работу свою: который на счетах клал — кинул их на кучу серебра; который записывал — перо за ухо да лист на столе перевернул, чтобы, знаете, кому дела нет до письма его, не прочитал, сколько кладов на свете есть и где они лежат; которые считали — те давай кататься по золоту, как собаки по навозу, да подняли крик, смех, визг; а тут, глядь, отколе ни возмись гусли, рожок, волынка, балалайка, гудок да еще и бубны: пошла пляска страшная и гульня такая, что Герасим стал уже то и дело оглядываться, не сбежится ли народ с соседних деревень на проказы эти; да нет, видно, спали еще все, не видать по оврагу никого. Глядел, глядел Герасим наш на все это да опять стал присматриваться на золото, что огнем ясным блестело: горы золотые с горами серебряными перемешиваются, перстни, серьги, подвески, ожерелья, запястья, зарукавья, поднизи, да все яхонт, алмаз, изумруд, бирюза; не стало мочи терпеть больше нашему Герасиму, подошел он к приятелю своему, попутчику, который, видно, сюда домой пришел и епанчу свою и шапку снял да наземь

кинул, а ходил в красной жилетке да, простите меня, в плисовых штанах с золотым лампасом, — подошел да и говорит ему потихоньку:

— Что ж, дядюшка, наделите меня, грешного, да отпустите...

— Ты ешь пирог с грибами да держи язык за зубами, — сказал, глянув через плечо, плисовый попутчик. — Я говорю, что вам нельзя не завираться. Ну дам я тебе; сказал, что дам, сколько на себе унесешь, еще, пожалуй, до околицы двух или трех пошлю с тобою помощников своих, чтобы донесли тебе добро это; да ты не обманешь ли меня после, не откинешься ли?

— Кто? я? — спросил Герасим. — Я откинусь? дядюшка, да как хочешь, заставь побожиться вот тебе крест...

Шарасть! все как рукой сняло; страшный гром с раскату ударил, и молнией опалило Герасиму бороду, а черти все до одного в глазах его из вертепа в бездну бездонную попрыгали. В один миг, не успел Герасим и крестного знамения повершить, все пропало; темная ночь обдала его градом и дождем, буря завывала, гроза загрохотала, и бедняк лежал долго без памяти. Он проснулся на рассвете в лесу, на скате крутого яра; хотел кричать — нет голосу, нет языка; хотел привстать — ноги отнялись; насилу, сказывают, дотащился он к вечеру на дорожку, там подобрал его мужик да привез в село. С этой поры Герасим лазил на карачках, протягивал руку Христа ради за насущным ломтем, поколе не дошел до могилы своей. Языка не доискался он по смертный час свой; тогда только он проговорил, покаялся и рассказал, что сбылось над ним накануне Ивана Купала.

Весною прибыл я в большую графскую вотчину в одной из северных губерний наших, куда поступил я управляющим. Надобно сказать, что я дотоле крестьянами не управлял, кроме своего маленького имения, на котором даже не мог бы прожить сам с семейством; но я знал и любил хозяйство и занимался им уже давно, по книжному и наглядно. Я полагал, что несколько знаю нашего крестьянина, быт, нужды, наклонности и замашки его, а потому и надеялся сладить с ним и принести некоторую пользу. Словом, я с большим усердием и охотой занялся своею новою обязанностью и начал с того, что стал вникать во все подробности крестьянского быта, и в особенности местного, бывшего до меня, управления. И вот, на первых же порах представился довольно замечательный случай для испытания моих управительских дарований.

Рассматривая поданные мне из конторы списки наличности разного рода, я, между прочим, остановился на одной довольно странной для меня статье: в каком-то валовом списке наличных, тягольных и бестягольных крестьян, бобылей, холостых, престарелых, калек, дряхлых и хворых самым диким и бестолковым образом перемешаны были коровы, козы, овцы, люди, гуси, индейки (по тамошнему *торы*) — и бабы; в том числе, между прочим, показано отдельно: *колдунов* 3, *кликуш* 23. Пересмотрев список несколько раз и убедившись, что я не ошибаюсь, что колдуны и кликуши эти, хотя они и поставлены вслед за гусями и утками, относились не до какой-либо известной мне породы домашних животных, а до людей, я велел позвать старшего конторщика: дело, очевидно, требовало объяснения.

— Что это? — спросил я, указывая на вторую из сомнительных статей.

— Кликуши-с, — отвечал тот, посмотрев наперед со вниманием и убедившись, что тут не было никакой описки.

— Да, это я вижу, но что ж это значит, отчего они кликуши? кто пожаловал их в это звание?

— Бог их знает: колдуны, должно быть; они как выкрикивают или выкликают, так на них, на колдунов то есть, показывают, испорчены, должно быть-с.

— Кто ж у вас завел порядок этот, чтоб были кликуши, и давно ли это ведется?

— Давно будет-с, чай, спокон веку, и не в память старикам. Без этого Божьего наказания никак нельзя: вотчина большая, сами изволите знать, это ведь здесь не то что у вас, а по всему краю, дело известное. Туда вон к Шадринску, опять к Чердыни, так их и невесть что. А по описям ведутся они, то есть значатся у нас для порядка, еще от покойного графа; и тогда уже были они, кликуши эти, только немного; для этого самого и приказано было их переписать; ну а замест того они пуще расплодились; такая беда, год от году все больше.

— На работу ходят они у вас?

— Которые ходят, да плохо; какая у обедни выкликала, так уж на неделе не работница, отдыхает. Что с ними станешь делать, вон, иной так и свои старики боятся, и старосты; того и гляди, выкликнет их по имени, как залает по-собачьи.

— Что это значит? Я тебя не понимаю; ты знаешь, я человек новый; говори толком все.

Тогда я услышал вот что. Кликуши оказывают порчу и силу свою по воскресеньям и праздничным дням, во время службы, обычно на церковной паперти; как только заблаговестят к достойной, а иногда как запоют херувимскую, то одна из кликуш, стоящих

уже из предосторожности у самых дверей в церкви или даже снаружи на паперти, — одна из них начинает завывать диким голосом, или *голготать*, как выразился конторщик, и ее скорее выводят. Тут она начинает заливаться всеми голосами, дразнить всех зверей и животных, особенно же кричит по-свиному, лает и воет собакой. Между тем другие пристают к запевале подголосками, подкатывают очи под лоб, подворачивают *талы*, как здесь говорят, руки и ноги и наконец все тело начинает корчить и сводить судорогами; бабы мои падают, закидывают головы, поют и ломаются на все лады до изнеможения; их покрывают чем-нибудь и оставляют в покое, а пришед в себя, они ничего не помнят. Иногда в неистовом крике своем безотвязно повторяют они какое-нибудь одно слово, ломая и коверкая его так, что надобно догадываться и добираться до него с трудом; смысл и таинственное значение этого слова составляет надолго завлекательную загадку для народа, который считает это пророчеством и выводит из того свои заключения. Если кликуша выкрикивает таким образом кого-нибудь поименно, чье-нибудь имя, то указывает этим на колдуна, который ее испортил; колдун этот, слыша такую очевидную улику, и сам не смеет отпираться от вины своей, а либо кается прямо, либо угрюмо молчит. Говорить нечего: улика налицо. Этих-то кликуш и указываемых ими колдунов, по заведенному исстари обычаю, вносили в именные списки и показывали, как мы видели в особых графах или статьях, рядом с *торами* и *дочками*, то есть индейками и свиньями.

Во избежание недоразумений замечу здесь, что болезни кликуш в прямом и строгом смысле нельзя назвать притворством, но можно по справедливости назвать шалью, дурью, которую бабы напускают на себя, глядя на других. Нервические и истерические припадки бывают если не прилипчивы, то духовно или нравственно заразительны, возбуждая почти невольно переимчивость, поддерживаемую обычаем и неизвестными отношениями местности. Сильное нравственное сотрясение, особенно кстати приспособленное влияние страха, иногда в болезнях этого рода оказывает волшебное пособие: брось одна дурить, и вслед за нею по причине той же непостижимой переимчивости все вдруг выздоравливают. Само собою разумеется, что в подобном случае является отчасти и прямое притворство.

Я стал осведомляться, не лечили ли кликуш этих, и услышал, что прежде много лечили, все делали, что люди скажут, да ничего не было пользы.

— Их, сударь, лечить нельзя, — сказал конторщик самоуверенно, — потому что это наслано, по ветру пущено, то есть они испорчены. Бывало, за покойного графа лекарей привозили из города, и много хлопот было, и денег потратили, а толку нет. Который дело свое знает, так сам отказывается, а другой, несмыслящий, пить дает снадобья разные, ну, от этого, бывало, еще хуже станет, и бросили. Возили и знахарей издалеча — самых док, случалось, что иной отводил, да только ненадолго, до нового месяца только, а там опять то же. Редко разве, когда сама на колдуна укажет, который портил, и на того, который то есть может осилить его, так поспоруются, да ино и одолеет, который позабористее. А то так вот они и имеются у нас и шатаются; и дома-то у них неспоро, хозяйство запущено, да и работу господскую мало какую исправляют, поэтому и от старых господ еще приказание было, чтоб не трогать их.

— А на богомолье ходят? — спросил я.

— Ходят, как же, они только этим и дышат и от злой смерти спасаются. Как весна вот только настанет, то и пойдут себе ватагами со всего околотка, и в Воронеж, и в самый Киев другие ходят; а нет, так хоть по здешним монастырям, к Сергию Радонежскому, а ино и в Соловки. Иная воротится, ей словно получше, месяц-другой ходит, словно здоровая, а там

опять схватит; как схватит одну, так, глядишь, и все закликали.

Всего этого было мне уже достаточно, чтобы сообразить значение кликуш и подумать о попытке избавиться от них. Я стал, однако, разузнавать еще под рукою о роде жизни их и об отношениях их к колдунам, коих имена они выкрикивали во время этих страшных припадков. Я вскоре убедился до очевидности, что отношения эти были двоякие: либо баба после какой-нибудь ссоры с мужиком, нередко и после злобных и слишком неосторожных угроз, за кои, под названием «похвальных слов», пришлось бы отвечать, вдруг делалась кликушей и выкликала именно того мужика, на которого зла; либо сам мужик, и в этом случае всегда какой-нибудь отчаянный негодяй, пьяница и ославившийся вор брал на себя звание колдуна, находя это довольно выгодным в житейском быту своем. Здесь звание колдуна даже почетно, потому что их честят, хотя для вида, и очень боятся. Такому колдуну всяк первый шапку сымает, величает его по отчеству, кланяется в пояс, угощает, и потчует, и ублажает; никто не смеет сыграть или отпировать свадьбу, не покланявшись наперед колдуну-ведуну, не обдарив его и не получив от него согласия или одобрения. Такой мужик, быв до этого в общем презрении и не слышав ни от кого доброго слова, вдруг благодаря глупости и робости прочих входит у них в почет, сидит на всяком пиру на первом месте, ни перед кем не ломает шапки и даже не сымает ее на приводе молодых из-под венца и в другие торжественные минуты этого празднества, нарушая самым соблазнительным образом общее приличие и пристойность.

Что касается собственно кликуш, то при осторожном и негласном разбирательстве оказалось, что в числе их не было ни одной путной, работающей хозяйки; все они наперед уже ославились в быту своем как нехозяйки и как неработницы, а затем уж попали в кликуши. Это до того было всякому известно, что даже сами крестьяне, которые суесвято и слепо веровали в кликуш, перебраниваясь с плохой работницей или попрекая дурную хозяйку, нередко говаривали: «Она, знать, скоро в кликушах будет». За всем тем, если это через несколько времени сбывалось на деле, то все они, не менее того, соболезнавали об испорченных, догадывались, кем это наслано, смотрели с каким-то подобострастием на все проделки порченицы и до того сами забывали о пророчестве своем, что им и в мысль не приходило ничего, кроме прискорбной новости, что такая-то стала выкликать. Коли злая баба дурно жила с мужем, ссорилась с ним и потом делалась кликушей, то и сам муж этот нелицемерно оплакивал семейное бедствие свое, сожалея об испорченной и проклиная ведунов.

Подумав об этом деле, я и сам обнаружил к несчастным этим одно только сострадание и жалость, не подав никакого вида укоренившегося во мне убеждения. В первое воскресенье я отправился к обедне с намерением посмотреть внимательно на кликуш наших, не таясь ни от кого, что желал бы их видеть в припадке. Молва об этом разнеслась по селу, и они, точно, на первый раз меня потешили: представление было одно из самых блистательных. Любопытство ли и сострадание мое их поощрили, хотели ль они озадачить и приучить меня с самого начала к такому заведенному порядку и удержать за собою присвоенные им права и преимущества, даже по конторским описям, — не знаю; но они были все налицо и кудесили взапуски.

Оставшись спокойным зрителем до конца этой проделки, я поговорил после кротко с кликушами, сожалел о несчастном положении их и обещал всеми силами постараться, чтобы оказать им пособие, в чем я тем более надеюсь, что граф дал мне на это особые приказания и самые подробные наставления, как и чем именно пользоваться кликуш. «С

Божиею помощью можете надеяться, — сказал я, — будьте только во всем послушны, покуда вы в своей памяти; в беспамятстве же, конечно, никто в себе не волен, и тогда уж распорядиться, как следует, будет мое дело. Средство, которое граф непременно приказал мне употребить, — прибавил я, — помогло в вотчине какого-то барина, в таком-то месте было много испорченных и кликуш; все они благодаря Бога, теперь здоровы».

На следующий же день я стал делать гласные приуготовления для пользования моих больных. Я приказал очистить во дворе одну половину небольшого отдельного строения, настлал в нем нары, а к окнам приделал решетки; к новой больнице этой приставлен был особый цирюльник и двое сторожей; у крыльца расставлены были два чана, налитые водою; и все это делалось с большою оглаской и со всеми возможными околичностями, и между прочим бабы наряжаемы были десятками, посменно, для очистки и уборки приготавливаемой больницы. Все это было до того ново в здешнем крае; распоряжения мои и устройство с самого начала обратили на себя общее внимание не только всей дворни, но и деревенских крестьян, а в особенности баб. Нового заведения дичились, но смотрели на него издали с большим любопытством и допытывались исподтишка, что из этого будет и каким образом станут лечить кликуш. Я молчал, не подавая виду, что замечаю это, ходил по временам осматривать заведение свое и говорил только при случае, что граф очень строго приказал мне заботиться об этих несчастных женщинах и пользоваться их предписанным способом, не уклоняясь ни на волос от правил.

Наконец пришла суббота, и я уже распорядился накануне с вечера, чтобы все бабы пришли на работу на барский двор. Я приказал под рукой, чтобы непременно и все кликуши наши были тут же налицо, найдя предлог для спешной валовой работы и сказав, что буду угощать. Раздали день по рукам, а я вызывал баб прясть взапуски, обещав лучшим пряхам подарки, а всем вообще угощение. Погода стояла прекрасная; бабы мои, рассевшись с веретенами, покрыли собою весь огромный двор и, сгрудившись тут и там кружками, запели песни. Старосты и десятские расхаживали для надзора, а я отпускал на крыльце дома лен, принимал и осматривал пряжу и поглядывал на заведение свое, при котором стояли безотлучно цирюльник со сторожами. Я мог заметить, что новость эта привлекла общее внимание баб и что в числе шуток тут и там прорывалась угроза: «А вот погоди, вот возьмут тебя лечить в цирюльню».

В таком положении были дела, как два работника пошли в ворота и пронесли по всему двору, через баб, трехсаженную доску, на коей по желтому полю полуаршинными черными буквами прописано было: «Больница для кликуш». Я отправился вслед за вывескою через весь двор со всем штабом и придворными своими; там цирюльник со служителями встретили нас, и вскоре вывеска была поднята и поставлена на свое место. Жизнь и говор, пробегавшие по бабьему базару, доказывали, что все проделки эти возбуждают сильное внимание и любопытство гостей моих. Я продолжал осматривать заведение внутри и снаружи, отдавая гласные приказания, чтобы цирюльнику со служителями в воскресенье отнюдь никуда не отлучаться, чтобы все по приказанию моему было приготовлено, чтобы на погосте стояли двое носилок с ряднами и прочее; затем, как только сделается с кем припадок, тотчас уложить больную на носилки, нести в новую больницу. Затем послал я цирюльника в барский двор за хранившимся у меня там снарядам; он вынес оттуда, перейдя обратно весь двор среди глазающей толпы баб, светло вычищенную полуторааршинную трубку белой жести — снаряд, употребляемый садовниками в теплицах и при цветниках, для окропления растений дождем, и называемый спрыском. Никем не виданная загадочная

вещь эта заставила всех баб моих сложить руки, разинуть рты и проводить глазами торжественное шествие дивного снаряда. Что это такое? что из этого будет? какие это чудеса?

Я велел подать воды из приготовленных чанов и попробовал тут же в несколько приемов спасительный снаряд, из которого толстая струя воды била водометом, как из заливной трубы, под самый свес кровли. Любопытство заставило сперва одну, а там и другую и третью из числа прях привстать и подойти к нам поближе, остальные стали чутко прислушиваться к разговору и мало-помалу тоже приближались. На вопросы старосты, как и что приказано будет делать и для чего принесена такая никем не виданная вещь, я объяснил ему, что, по вновь открытому ныне и испытанному способу лечения кликуш, эта штука оказывает удивительную помощь и что это та самая вещь, или прибор, коим излечены все испорченные бабы в том имении, о коем я намерен был говорить. Граф наш нарочно выписал его оттуда. Как только появится припадок, то надобно тотчас употребить в дело две или три полные трубки холодной воды: этого боится всякая порча пуще всех наговоров; тогда начинает бить озноб того колдуна, который наслал порчу, а с кликуши как рукой сымет. Для этого по приказанию графа здесь и будет всегда наготове цирюльник со служителями и со всеми нужными припасами; завтра, даст Бог, как в воскресный и тяжелый для кликуш день, испытаем средство это и узнаем помощь его. Тогда, прибавил я, скажете спасибо своему доброму барину, графу, который так заботится о бедствующих.

При этом объяснении фельдшер мой, продолжая опыты, пустил струю вверх под самую кровлю, упирая sprыск в грудь и налегая на него обеими руками. Между бабами произошло какое-то общее волнение. Возгласы ужаса и негодования сливались с воплями, вызываниями и громким хохотом. Недоумение, изумление, страх, любопытство и злорадное удовольствие высказывались тут и там в различной степени среди окружавшей нас шумной толпы. Видно было по всему, что никто не ожидал такого способа лечения; зная отвращение народа от подобного средства, закоренелые предрассудки его о том, что считается позором, образ мыслей и понятия, я не ошибся в выборе. Гласность, торжественность и решительность всех приготовлений также много способствовали к усилению впечатления. Бабы мои закрывали лицо руками и с визгом спешили на свои места за работу. Все от меня разбежались; я опять стоял у больницы своей один с цирюльником, под грозною вывескою и отвратительным водострельным орудием... Я стоял, как комендант крепости с малочисленным, но решительным гарнизоном при одинокой пушке...

Я поглядел искоса на замеченных мною тут и там в толпе кликуш, не оказывая им явно никакого внимания, и заметил, что они были в каком-то тревожном смущении, не подходили с прочими для расспросов, а оставались на своих местах, косясь исподлобья на веселую крикливую толпу и спрашивая шепотом соседок своих о том, что управляющий говорил и что там деялось. Окончательно я еще раз обратился к бабам, взяв сам в руки роковой снаряд, и сказал: «Бояться тут нечего, тетки, и вы не бойтесь и не пугайтесь; вам добра желают, а не худа, все это делается к добру. Две или три трубки этих, и всего-то с небольшим полведра воды, — тут еще, кажись, страшного нет ничего. Граф пишет, что если кликуша очень тяжело испорчена, то делают трубку еще больше этой, одну в полведра...» Общий крик ужаса заглушил слова мои; бабы всполошились пуще прежнего, смех и горе заговорили повсеместно громкими нестройными голосами... «Скажите спасибо нам с цирюльником, — продолжал я, — лекарь не спрашивается у больного, а больной спрашивается у лекаря; а как даст Бог здоровье, тогда всякая спасибо скажет. Граф строго

приказал мне лечить всех кликуш по этому способу; больница с решетками готова, и цирюльник с прибором, и сторожа с полотенцами, чтобы осторожно связать и успокоить бедную больную, коли очень будет биться». Передав роковой снаряд в больницу и приказав еще раз, чтобы носилки были заутро на погосте, я ушел домой.

Когда бабы кончили уроки свои, то лучшим пряхам раздали подарки, всех накормили ипустили по домам. Шумно и весело пестрая толпа пошла со двора; крик, визг, смех слышался еще долго, покуда бабы мои не рассыпались все врознь по своим избам. Весь вечер только и было толков по деревне, что о неслыханном позоре, который завтра ожидает бедных кликуш; а когда наутро заблаговестили к обедне, то все село, и стар, и мал, спешили в церковь, ожидая с каким-то жадным любопытством развязки этого дела. Ребятишки и девчонки с утра уже толпились за углом у барского двора, заглядывая украдкой в ворота и через забор и всматриваясь в больницу, чтобы видеть, не деется ли там каких чудес. На всякий случай я принял меры, чтобы кликуши мои все, сколько их состояло по списку, были в церкви; сам я отправился туда же; на погосте стояла уже пара носилок с рабочими.

Подивитесь же моему дивному снадобью и неслыханному симпатичному действию его: вся обедня кончилась спокойно и благополучно, и ни с одной кликушей не было припадка. Народ как будто стал догадываться, что дело это не совсем чисто, и общая молва начала клониться против кликуш и на пользу моего снадобья. Несколько воскресных и праздничных дней сряду продолжал я еще принимать те же меры предосторожности, без шума, без упреков, без угроз, даже без всяких излишних рассуждений, предоставляя крестьянам самим догадываться о причине скромности кликуш наших и делать какие угодно заключения; я поддерживал с осторожностью мнение, что, вероятно, колдуны убоялись трясуемого озноба, который бы должен одолеть их от припасенного на кликуш снадобья, и поспешили снять порчу. И в следующие за тем воскресные дни все прошло ровно, спокойно — вот каково удачно приисканное лекарство! С этого времени кликуши перевелись у нас во всем имении графа, перевелись на все время моего пребывания, и более их не появлялось там ни одной. Бабы сами не могли надивиться моему знахарству.

Ко всему этому остается прибавить только одно: то, что я теперь рассказывал, не сказка, а быль. Я бы очень желал, чтобы средство это было испытано другими.

ПОЛУНОЩНИК

(Уральское предание)

Лет тому... да много, еще когда дедушка внуком был, никак вскоре пугачевщины, опять выдался такой год, что стало по низовым станицам уральским больно беспокойно. Казаки ни днем ни ночью не выходили со двора без винтовки за плечами; стада и табуны частью отогнаны были на Камыш-Самару, а частью держались поблизости станиц и пикетов, известных под именем *половинок, маяков и реданок*; пастухи, вооруженные и в обыкновенное время копьем и винтовкой, были удвоены и едва смели прилечь; один из них, конный, всегда стоял на ближайшем возвышении и высматривал окружность.

Между тем в темную осеннюю ночь небольшая шайка киргизов «учинила пролаз», то есть успела незаметно пробраться через Урал, по одному и по два, и залечь в береговые камыши. Когда их собралось довольно, то они выехали осторожно на степной кряж, оставив пикеты и маяки за собою, на берегу реки, и пустились к станице. В другое время, может быть, набег их и был бы удачнее. Но как теперь всюду были приняты необыкновенные предосторожности, то шайка и наткнулась, при самом въезде в селение, на выставленный за скотным двором *секрет*, то есть отводный караул. Три казака, из коих один приказный, услышали издали фыркание лошадей и топот их; все трое, перемолвившись шепотом, прилегли наземь, чтоб, не окликаая, отличить и распознать приближающихся конных, а подпустив их шагов на тридцать, и различив положительно киргизские малахаи, и расслышав говор, встретили неприятелей залпом из трех винтовок, бросились с гиком вперед, ухватив пики и разогнав этим мгновенно толпу, кинулись впотьмах к лошадям своим, сели и поскакали, один в пикет и двое по станице, распространяя повсюду тревогу. Но не успел еще первый из них доскакать до пикета, как там уже запылал ярким пламенем *маяк* — обвитый камышом и соломой шест; сигнал этот приняли по всей линии, вверх и вниз, и вскоре целая полоса по Уралу осветилась заревом маяков. В то же время казаки со всех постов спешили по призыву туда, где первый маяк загорелся. Через час времени после грех выстрелов *секрета* тревога обняла уже верст по сту в обе стороны линии, по направлению к Гурьеву и к Уральску; все было на ногах, отовсюду спешили на помощь.

Осторожные воры, киргизы, не желая бороться с открытой силой, тотчас же отступили, зажгли встреченный на пути стог сена, прикололи ни за что ни про что мужика, бабу и двух ребят, семейство сызранского сапожника, отправившегося по ремеслу своему из одной станицы в другую, и перебрались вплавь через Урал. Значительный отряд казаков не успел еще собраться, но человек пять смелых наездников, зная хорошо тактику неприятелей своих и потому предвидя их действия, перебрались заблаговременно через реку и, ложась, прислушивались, чтобы подстеречь их переправу. Шум воды под ногами конскими действительно обнаружил невдалеке шайку, на так называемом броду, хотя отчасти надо было и тут переплыть русло; а загоревшийся стог сена, хотя и был от этого места верстах в двух, осветил несколько поверхность реки, и шайка встречена была ружейными выстрелами. Но сила преодолела, и казаки наши отступили, захватив, однако же, одного раненого киргиза; кроме того, первыми тремя выстрелами близ станицы был убит один киргиз, а другой также ранен и захвачен; таким образом, казаки добыли языка, что было для них очень важно, потому что теперь знали, какая именно была шайка эта, какого рода и племени и из каких аулов, а когда это известно, то уже всегда было более надежды отыскать виновных или

заставить однородцев их за них поплатиться.

К утру собрался небольшой отряд в Сарайчик. В то время вообще не было строгой формы для казаков, а *штаты*, как называлась форменная перевязь с подсумком, надевались только во время внешних командировок. В то время уральцы ходили, по обыку, в алых и малиновых кафтанах, с откидными рукавами по синему поддевку, и в высокой малиновой шапке с перехватом; сабля была принадлежностью войсковых чиновников, а рядовичи довольствовались копьем, винтовкой с ра́жками и пистолями. В степных же походах, которые нередко делались, как в настоящем случае, спешно и по домашнему распоряжению, по поводу набегу, — каждый садился на коня в домашней одежде своей: в простом синем кафтане, в хивинском полосатом халате, в чапане, в стеганке, поддевке или куртке, но всегда с добрым оружием и в черной высокой смушчатой шапке.

Отряд этот выступал уже с зарей: седла и необходимую поклажу погрузили на *бударки* — легкие лодочки; туда же сели и казаки, человека по три и по четыре, взяв лошадей за чембуры; через час кони были уже оседланы на противном берегу, и отряд подымался на кряж, потянулся змейкой по степи и долго еще виднелся издали черной полосой по желтоватому ковылу.

— Погоди ж вы, разбойники! — сказал один казак, попадая носком сапога в мочку пики своей. — Разве не даст Бог сойтись с вами, а то будете вы помнить Сарайчик!

— И чего их, собак, жалеют, прости Господи! — сказал другой. — Вот ведь которому дашь аман, он-то самый и наделает тебе больше всех хлопот; я говорю, что волк — так волк и есть, попался в руки, так бей его досуха, а прикормишь да отпустишь — так сам на свою голову кистень выковал. Я знаю, что это опять Китайка проказит; уж от него нам добра не видать. А кабы прошлую осень подняли его на копья, как был в руках, так бы с ним и не хлопотать. Так ли, Сидорыч, — продолжал он, обратившись к подъехавшему чернобородому смуглому казаку, очевидно персидского происхождения, почему он и прозывался Кизылбашевым, — так ли?

— Так, — отвечал тот, не подымая глаз и проворчав что-то про себя, а затем прибавил вслух: — Поднять-то на копья мало б кого надо; есть люди и тошней киргизца... — И отъехал в сторону.

— Вишь, хорасанская кровь! — сказал один из первых. — Гляди, ведь он все еще зубы точит на старого супротивника своего, на Пахолкина: аль опять они не поладили?

Объясним эту выходку. Кизылбашева отец был пленный персиянин, выходец из Хивы. Приписавшись к войску, крестившись и женившись там, он известен был в войске назойливым скрытным нравом своим и передал по наследству это свойство персидской крови старшему сыну. Семейство их жило довольно бедно, потому что рыболовство им как-то не давалось, а торговлей промышлять без истинника очень трудно. По этому поводу сын смолodu вынужден был идти на службу, на которую и тогда, как теперь, вызывались одни охотники, с уплатою им довольно значительных подможных денег; эти обстоятельства и отношения заставили Кизылбашева-сына оставаться холостым почти до тридцати лет; в эти годы только сделался он владельцем отцовского хозяйства и приобрел столько своего, что мог купить невесте *сороку*,^[23] что в то время почиталось совершенною необходимостью и без чего ни один казак не мог подумать о сватовстве. О приданом же и тогда, как теперь, у уральских казаков никогда не бывало речи: тесть наделял дочь свою или зятя по своему усмотрению, и то несколько лет спустя после женитьбы, когда убеждался, что молодые хорошо и согласно живут.

Задумав жениться, Кизылбашев стал заглядываться на Орину Мироновну, дочь урядника Красоточкина, и хоть ему в его годы и с его чернобородой рожей не совсем к лицу было любезничать, но он, по принятому обычаю, выходил к базкам, то есть к скотным дворам, встречать и провожать вместе с Ориной Мироновной стадо, а также хаживал зимой вслед за девками на *синчик*, то есть на молодой лед, скользить, играть и бегать. Если б Кизылбашев был вовсе не по нутру Красоточкину, то он бы сам проводил дочь к базкам и на синчик и сказал бы там тому, кто ухаживает за его дочерью: «Не прогневайся, брат, это не наша девка, чужая», но как ничего подобного не случилось, а Орина Мироновна хотя и называла поклонника своего в глаза заморской пúцелкой (то есть чучелкой, потому что Орина Мироновна, как и все землячки ее, пришепetyвала), хотя и не раз угроживала, что наденет ему подойник с молоком на голову, но либо пожалела молоцка, либо пожалела молодца, потому что угрозы не исполнила и, как Кизылбашеву казалось, бранила его и отбивалась от него только для забавы и приличия.

В таком положении было дело это, когда вдруг, недуманно, негаданно, добрые люди из соседней станицы прибыли в дом Красоточкина и привезли поклон и ласковое слово от старика Пахолкина, который сватал Орину за сына, за молодого сотника. Это было, конечно, другое дело и не Кизылбашеву чета: сотник Пахолкин был молодец молодцом, а у отца его был хуторок на Камыш-Самаре, другой на узеньях, где ходило косяком до десятка добрых коней, да кроме того, старик ежегодно выменивал у киргизов тысячи по две и по три баранов, отгоняя их на убой в салотопни. При таких отношениях не только Кизылбашева и в помине не было в этом деле, но об нем и думать позабыли; Красоточкин дал слово, и через несколько дней жених навестил невесту, а вскоре опять приехал и привез ей в подарок такую сороку, которая выставлена была целые две недели напоказ, и казачки съезжались даже с Баксая и из Кармановской станицы посмотреть на этот подарок.

Кизылбашева, который, как мы уже сказали, довольно долго крепился и собирался, покуда обстоятельства не позволили ему подумать о сватовстве, неудача эта крепко смущала. На беду не стало дело за такими людьми, которые начали подтрунивать над бедняком; в особенности же девушки, будто сговорились, стали спрашивать его при встрече, отчего его теперь нигде не видно? Злобное сердце его вскипело мстью, и он не раз искал случая, чтоб отомстить Пахолкиным или Красоточкиным — все равно — за неудачу свою, тогда как ни те ни другие и не думали о нем и мирно и весело сыграли свою свадьбу.

Со времени этого происшествия прошло уже с полгода, но Кизылбашев не считал еще, как видно, дела своего конченным и, как можно было догадываться по ответу его, который мы слышали, замышлял что-нибудь недоброе. Повод же к этому был вот какой: в собранном наскоро отряде находился не только счастливый соперник Кизылбашева, Пахолкин, но и два брата его и дядя, и сверх того сам старик Красоточкин с сыном и племянником; словом, так как казаки соседних станиц вообще все почти между собою в родстве и свойстве, то в набранном из Сарайчика и ближайших станиц отряде было много казаков, рядовых и чиновных, состоявших в более или менее близком родстве с Пахолкиными и Красоточкиными. Кизылбашев, состоявший на линейной службе, где изредка только встречался с кем-нибудь из этих людей, теперь внезапно сошелся со всеми с ними лицом к лицу. Встреча стольких ненавистных лиц возмутила его и пробудила давнишнюю злобу.

Отряд сделал до вечера, с привалом, очень большой переход, но, не настигнув хищников, остановился с тем, чтобы назавтра продолжать поиск свой и напасть на аулы, к которым грабители принадлежали. Зная опасность своего положения, казаки приняли все

обычные предосторожности и не только выставили цепь вокруг всего стана, но и еще особенную вокруг всего табуна, потому что лошадей надобно было пускать ночью на подножный корм.

Когда стали вызывать по наряду караульных в ночную цепь, на вторую или третью смену, то в числе чередных одного не досчитывались: оказалось, что Кизылбашева нет. Пустили голос и прокричали по всему отряду, искали везде, полагая, не заснул ли он где, — но нигде его не оказалось, и никакого следа его не нашли. Никто не знал, что подумать. «Сошел с ума наш Кизылбашев, — говорили казаки. — Диво куда он запропастился: а был тут с вечера, разве не подхватили ль его как-нибудь втихомолку карсаки?»^[24]

А Кизылбашев между тем, разузнав о близости аулов, решился на небывалое дело: он бежал из отряда с тем, чтобы подвести неприятеля, напасть врасплох и уничтожить, как он надеялся в слепой злобе своей, весь отряд. Несчастливая мысль эта поселилась в нем уже в то самое время, как только весь отряд был в сборе и Кизылбашев увидел, что тут находилась большая часть мнимых неприятелей его, по крайней мере ненавистных ему людей. И в надежде погубить их он не пощадил никого и не подумал даже о себе самом...

Еще было темно, и восток не обозначился заревом; весь отряд покоился, одни только часовые на цепи перекликались, как три отчаянные молодые киргиза, будучи подведены к отряду отступником и изменником, легли наземь в таком расстоянии от отряда, как только могли расслышать фыркание и чихание казачьих лошадей, и поползли по траве. Один служил вожакom, другие два ползли за ним и вовсе не подымали головы, полагаясь во всем на передового, который останавливался на каждых десяти-пятнадцати шагах и осторожно озирался кругом, едва только отделяя голову от земли. Они ползли с такой осторожностью, что шороху было не более, как от змеи. У каждого из них висел на поясе добрый нож, одежда на них была самая легкая — одни лохмотья, оружия, кроме ножа, никакого. Таким образом подползли они вплоть к цепи, и увидеть их по темноте ночи было невозможно. Выждав удобную минуту, когда оба смежные часовые оборотились в противоположную сторону, воры проползли внутрь цепи и вскоре очутились посреди пасущихся стреноженных лошадей. Тут каждый из них окликал потихоньку и огладил по лошади, поспешно перерезал ножом тренугу и сделал то же у нескольких соседних лошадей; тогда все трое вскочили на коней, со страшным внезапным гиком пустились скакать во весь дух без узды, куда лошади угодно, продолжая дикий, неистовый рев свой, погоняя лошадь под собой тычками ножа и поражая им на скаку лошадей вправо и влево. Весь табун шарахнулся, ни одна тренуга не удержалась, и ошалевшие кони понеслись вслед за проскакавшими всадниками, опрокинув перед собою караульную цепь.

Казаки в ту же минуту вскочили, ухватившись за оружие; и была пора, потому что шайка в несколько сот человек с таким же неистовым, диким ревом кинулась теперь на отряд. Как ни жесток бывает подобный приступ, но при устойчиве и встрече ружейным огнем нестройная толпа всегда поспешно отступает, возобновляя нападения свои постепенно и с меньшею отвагою и меньшею удачею, потому что казаки выигрывают время, могут собраться в порядке и успевают зарядить ружья. Так было и тут: киргизы после нескольких отчаянных попыток отступили; вопли их слышались в отдалении, отряд даже пустился было преследовать их. Но пеший конному не товарищ, и сотник Пахолкин остановил бесполезное рвение казаков. В целом отряде не осталось более пяти лошадей; лучшие казаки вскочили на них и понеслись во весь дух за отогнанным табуном.

Заря уже начинала заниматься, когда погоня взяла на вид хищников, гнавших лошадей с

возможною поспешностью. Одна только из пяти лошадей была довольно бойка и надежна, на остальных нельзя было положиться. Урядник Красоточкин, лихой старик, тесть Пахолкина, сидел на этой лошади и решился попытать счастья, не дожидаясь отставших четырех товарищей своих. Он пустился во весь дух, обскакал табун, не обращая никакого внимания на тревогу, поднятую киргизами, повернул круто в бок лошадям, сколол одного из воров, кинувшихся ему навстречу, и с таким же диким ревом проскакал поперек всего табуна, увлекая шарахнувшихся снова коней за собою. Дав значительный круг и скача впереди, Красоточкин воротил благополучно часть табуна и привел его в стан, между тем как отставшие четыре казака подоспели и защитили отбитую добычу свою от новых нападений.

Как только лошади прибыли в стан, то мгновенно были оседланы, и Пахолкин пустился с лучшими казаками в погоню за шайкой. Настигнув ее, он частью разбил, частью рассеял ее и успел захватить в плен до пяти человек, в чем, кроме показания хищников, и состояла цель поиска его; эти пять человек должны были выручить весь отряд из беды.

Убитых не воротить, и потому киргизы об них мало заботятся, кроме того, что стараются увезти трупы с собою для погребения; но о пленных они чрезвычайно хлопочут и для выкупа их готовы сделать все, что могут, ничего не жалея. Когда ободняло, весь отряд собрался опять на становище; пересчитали людей и лошадей и увидели, что, кроме Кизылбашева, все казаки были налицо, в том числе двое или трое раненных пикой или чеканом; но недоставало еще семидесяти лошадей. Рассмотрев и разобрав пленников своих, Пахолкин выбрал из них одного простого киргиза, сверх того еще и раненого, дал ему одну из плохих лошадей и, настрашав порядком, приказал ехать к султану Юсуфу Галикееву, начальнику шайки, и объявить, что если до полудня не будут доставлены все лошади и беглец Кизылбашев, то киргизы найдут на этом месте четырех пленников, забитых до смерти нагайками; отряд же выступит с тем числом конных, сколько есть, для разграбления аулов Галикеева и будет резать все, что ни попадется ему под руку.

Часа через три гонец от султана Галикеева прискакал, соглашаясь на предложения о размене пленных, но просил прибавить несколько часов срока, потому что лошади были загнаны далеко и послано за ними вдогонку. Размен состоялся наполовину: коней пригнали, за раненых и не отысканных лошадей киргизы дали своих, но Кизылбашева, которого, конечно, не пожалели бы при таких обстоятельствах, выдать не могли, несмотря ни на какие настояния Пахолкина, уверяя, что он скрылся. Поэтому сотник счел себя вправе не выдавать и пленных, утверждая, что договор со стороны киргизов не исполнен; тогда эти вздумали требовать обратно лошадей; завязался спор, а наконец и драка, которая кончилась весьма невыгодно для киргизов: казаки жестоко наказали их, напав еще вторично на приблизившуюся шайку, и гнали ее, побивая, до самой ночи. Таким образом, отряд Пахолкина воротился благополучно в Сарайчик, с песнями и победными кликами, не потеряв ни одного человека, а сделал свое дело: наказав хищников порядком и отогнав довольно скота. Весть об измене Кизылбашева, о котором не было ни слуху ни духу, разошлась вскоре по всему войску, и едва ли на чью-нибудь голову было когда-либо произнесено столько проклятий, сколько досталось от мала и велика на долю позорной памяти этого несчастного полуперсиянина. Прошло несколько лет, и о Кизылбашеве не было речи; все сведения из степи подтвердили первоначальное известие, что он пропал без вести.

Однажды, в темную и бурную осеннюю ночь, повторилось почти то же, что было описано нами в начале этого рассказа: шайка киргизов прорвалась или прокралась внутрь

линии неподалеку Кожехарово; пущенные по линии маяки подняли на ноги все население, и собранный отряд пошел вслед за грабителями. Он к вечеру остановился, прислонившись тылом к озеру, где было хорошее пастбище, выставил впереди цепь и послал разъезд до известного урочища, где был крутой обширный яр, чтоб удостовериться, нет ли там засады.

Разъезд подъехал к урочищу уже в сумерки и пустился на несколько верст для осмотра вдоль яра. Все было мертво и пусто, нигде и следов аула или стоявшей шайки не найдено. Вдруг (я говорю по словам разъездных казаков) конный казак выезжает вплоть перед ними из оврага: кивнув головой, он берется за шапку, будто здоровается, и робко объезжает вокруг разъезда. Явление это до того поразило казаков, что они стояли несколько минут как вкопанные и даже не окликали встречного и не подали голоса... Наконец урядник, узнав в казаке этом Кизылбашева, назвал его по имени и звал к себе, убеждая покаяться в грехах своих и добровольно явиться к начальству... Кизылбашев не отвечал сперва ничего, но, покружив, стал расспрашивать, что делается в войске: кто теперь атаман, дома ли такие-то казаки и прочее. Урядник повторил ему настояние свое, чтоб он ехал с ними, а когда тот, кивнув опять слегка головой, передвинул шапку в виде поклона и поворотил лошадь к оврагу, то урядник кинулся за ним и протянул уже руку, чтоб схватить, как вдруг его не стало. Урядник и разъездные казаки перекрестились, прочитали «Аминь, аминь, рассыпья», поискали еще несколько времени переметчика, но, не найдя ничего, воротились.

То же почти случилось на следующую весну, когда небольшой казачий отряд послан был на помощь султану-правителю по поводу баранты и угонов. И тут опять ночью нечаянно подъехал к отряду казак, будто из земли вырос; робко приближался, но все держался поодаль; и опять расспрашивал, что делается в войске. Все, кто знал Кизылбашева, узнали его; казаки бросились и окружили было его, но он пропал опять на месте, будто провалился сквозь землю.

С этого времени уральским отрядам частенько случается видеть в степи полунощника; и полунощник этот не кто иной, как Кизылбашев. Много прошло лет, много десятков лет прошло с той несчастной ночи, когда безрассудная злобная месть воспламенила персидскую кровь этого несчастного и как он, посягнув на одно из самых страшных преступлений, продал свою душу, — и все еще привидение его шатается по обширной степи, ищет и не находит покоя и, встретив русский отряд, подъезжает к нему и расспрашивает о том, что делается на Руси и в родном уральском войске... Теперь уже привыкли к нему и знают его; казаки не пугаются более этого загадочного явления: как только увидят они издали ночью чужого казака на белой лошади, в чапане и шапке старинного обыка, с густой и черной круглой бородой, со смугло-желтым, болезненным цветом лица, с мутными непостоянными глазами, так и творят молитву и говорят друг другу: «Гляди, полунощник!»

БАШКИРСКАЯ РУСАЛКА

В горной области Урала живет полукочевой народ. Он просил у царя Иоанна Грозного защиты и подданства: с востока сибирские князья, а с юга монгольские, татарские орды утомили зажиточных скотоводцев непрерывными набегами. На севере, однако же, и северо-востоке сами они делали набеги и уводили себе оттуда, от племен чудских, жен. Откуда народ этот взялся — неизвестно; вера его ныне мусульманская, язык наречия турецкого или татарского, произношение более гортанное, монгольское; лица у мужчин — что-то среднее между лицом казанского татарина и заяицкого кайсака, у женщин — между кайсачкою и самоедкою; словом, здесь, кажется, видна смесь племен: татарского, монгольского и чудского. Народ этот называет сам себя «башкурт»; ученые наши тешились над этим словом, ломали и переводили его всячески: главный волк или вор,^[25] главный пчеловод, отдельное племя или владение и проч. Сами башкиры говорят, что они происходят от ногаев, или ногайцев, отделившись от них по усобицам. Иные помнят, по преданию, какое-то родство с бурятами; в сказках и песнях их поминают родоначальником дивного Чингисхана, коего предок рожден девственницею от наития солнечного луча, а сам он, Чингисхан, вдовою Алангу, которую также посетил луч солнца и возвратился от нее серым волком с конскою гривой.

Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена, или, как их называют у нас, на волости; у каждой волости свой уран, отклик, своя тамга, рукоприкладный знак, свое дерево и своя птица, розданные, как верит народ, самим Чингисханом. Ученые бытописатели наши ищут в башкирах предков маджаров, нынешних венгров; теперь же народ башкурт, составляя общее с мецерьяками казачье войско почти в 200 000 человек, расселился от Уральского хребта до Яика, Большого Ика, Белой и Камы, местами еще кочует летом и живет скотоводством, промышляет и звериной ловлей, пьет кумыс и ест крут; местами же поселился уже оседлыми деревнями, разводит пчел, сеет хлеб и одеждою и обычаями своими все более и более сливается с соседними татарами.

Но у кочевых башкиров осталось еще много своих поверий и преданий: есть злой дух дью-пари (див и пери), принимающий образ человека, кошки, собаки и особенно барса и тигра; иногда у него грива бывает золотая: знаменитейшие батыри башкирские прославились битвами с этим чудовищем, которое, нападая, и защищаясь, и особенно похищая девок, перекидывается и принимает разные образы; если же дью-пари является в образе человека, богатыря, то может быть ранен, как Ахилл, только в пятку. Леса, дебри, горы, воды и пещеры населены лешими, водяными, русалками, известными вообще под именем *джинн*, дух; каждою горою, каждым озером обладает такой джинн, добрый или злой; но все это рассказывает вам башкир стихами или напевает, вторя чибызге или кураю, в прошлом времени; ныне бесплотных жильцов или жилищ этих осталось немного, золотой век, как всюду, так и здесь, прошел, промчался, остались одни воспоминания!

Одна из знаменитейших пещер в Башкирии — это Вельская, или Шулюган-таши. Ее смотрели и описывали Рычков и Лепехин. Она лежит на правом берегу *Ак-Идыля*, реки Белой, в двенадцати — пятнадцати верстах от Вознесенского завода, на бывшей ногайской дороге, в земле Бурзянской волости. Но Рычков, без сомнения, очень ошибался, когда полагал, что вертеп этот дело рук человеческих. Гора возвышается сажен на восемьдесят, пещера идет снизу вверх, длиною сажен в полтора или более; она вся еще не исследована

и состоит из множества отдельных больших и малых пещер, связанных переходами, оконцами и трещинами. Подземные палаты эти шириною от двух-трех и до двенадцати, вышиною местами также до двенадцати сажен, между тем как тут и там надо пробираться ползком. Известковые капельники образуют на полу и на сводах дивные изваяния, подающие башкирам повод к новым басням. Тут есть ключи, озера, пропасти, подземные горы, огромные самородные своды, ступенчатые лестницы, погребальный одр из капельника и вокруг шесть огромных шандалов со свечами, из той же известковой накипи. В стенах и сводах есть отверстия, ведущие в верхние и боковые ярусы пещеры. В подземелье этом обитало какое-то особое племя людей, о котором рассказывают много дивного. Там же нередко укрывались разные джинны, дивы и дью-пари. Во время смут и возмущений башкиры спасались в подземелье этом с семействами и имуществом. Старики рассказывают о каменной, здесь находящейся собаке: это див, окаменевший в принятом им образе. Замечательно, что каменная собака эта боится плети, что дождевые облака ей подвластны, и собака не может снести ста ударов плетью: она издает глухой вой, и обильный дождь окропляет окрестность.

Верстах в трех есть небольшое озеро Елки-кичкан, конский выход или выгон. Озеро это прибывает и убывает постоянно. Оно было в старину жильем и царством могучего падишаха водяных; он-то наградил смелого Кунгрбая, башкира Бурзянской или Усергенской волости, косяком лошадей, выплывших из этого озера вслед за бесстрашным наездником, пустившимся вплавь на знаменитейшем жеребце своем через неприступную для других пучину. Верстах в десяти ниже найдете озерцо чистейшей воды, из коего вытекает речка Шулюган и впадает в Белую. В этой речке найден хомут с лошади, украденной и утопленной преследуемым вором в нагорном озере: стало быть, говорят башкиры, озера эти сообщаются под землею.

Есть или была еще в другом месте в Башкирии пещера или, лучше сказать, провал, котловина, из которой когда-то вода подымалась по временам черным смерчем. Это было каждый раз предзнаменованием общего бедствия: вода вскоре упала опять в уровень с землею; смелые ловцы, пускаясь сюда за медведями, погружали в пучину высочайшие сосны и не доставали дна; наконец вода исчезала, ямина просыхала, и о полуночи выбегала из нее черно-бурая лиса; этот зверь, или див, приносил с собой беду, бич небесный, гибель и разносил ее по земле: мор, голод, палы, пожары, засухи, войны и усобицы — все это выносила с собою черно-бурая зловещая лиса. Смелый зверолов подстерег ее у самого выхода и пустил в нее в один миг, разобрав их по пальцам и в зубы, двенадцать стрел; за каждую стрелою оборотень перекидывался то собакой, то кошкой, то выдрой, то росомхой, а наконец барсом и юлбарсом, то есть лютым полосатым тигром; батырь наступал все смелее да смелее, поражал его стрелами раз в раз и наконец, заставив отчаянного дью-пари принять последний, человеческий, образ, в латах, шишаке, с огромным обоюдоострым мечом, поразил его копьем в левую пятую и свалил труп, от которого пошел смрад и пар коромыслом, в жерло бездонной котловины. С тех пор в Башкирии нет и мятежей.

Пещера Муйнак-таш, также на Белой, не менее славна; в ней есть огромные палаты до двадцати сажен вышины и до шестидесяти сажен длины. В пещере Тирмене-тау слышен вечный подземный гул, как от низвергающегося водопада: это жилище дью-париев, которые день и ночь дуют огромными мехами и куют стопудовыми молотами. В подошву змеиной горы, Зилан-тау, ввергается, протекиши не более полуверсты, подземельная речка и пропадает; она с незапамятных времен пошла к шайтану в кабалу жернова ворочить.

На речке Шашняк есть скала Тауча; в отвесе скалы этой есть небольшое отверстие, но никто не знает, куда оно ведет; края его обтерты, будто какой-нибудь жилец ходит туда и оттуда; по ночам нередко виднеется огонек, и башкирцы рассказывают между прочим, что два духа вылетели однажды из пещеры этой, ухватили башкира с сенокоса под руки, понесли его по воздуху и хотели втащить в узкое отверстие, но тот был широк в плечах, да притом стал читать молитву из Корана; явился изнутри пещеры третий дух и сказал товарищам своим: «Бросьте его, на что вы с поганым связались», — и башкир полетел на дно пропасти, в речку Шишняк, выплыл на берег и, отдохнув, рассказал о приключении своем.

Не совсем мало и теперь еще в Башкирии древнего оружия, особенно кольчуг, панцирей и шлемов. Они зашли сюда в незапамятные времена из Средней Азии. Кольчугу башкиры охотно надевают на алый суконный чапан, подпоясываются тисненым ремнем, на котором висит лук в кожаном раскрашенном налучнике и такой же колчан со стрелами, и украшают шлем свой перышками или надевают широкую развалистую бурзенскую шапку с алым верхом и широкими приподнятыми полями из пушистой лисы; такой воин на белой плотной малорослой лошади своей олицетворяет перед вами Средние века.

Нынешние башкирские песни состоят из отрывистых четырехстиший, в которых обыкновенно два первые стиха заключают в себе картину, басню, притчу, а два последние применение, сравнение с сущностью. Но есть несколько старинных батырских песен, есть и сказки, предания, которые так между собою перемешаны, что деписание и баснословие смотаны всегда на один общий клубок. Напевы тоскливы, унылы, протяжны и дики, но приятны и певучи. Курай или чибызга, дуда или сопелка, издающая приятные сурдинные звуки, держится строго, нота в ноту, голоса песенника; вторы у них нет вовсе, голоса довольно чисты и звучны, но тонки или высоки и очень не обширны. Если же песенники умолкают, то к чибызгам пристают нередко певчие особого рода; они поют, как говорится здесь, *горлом*. Это в самом деле вещь замечательная: набирая в легкие как можно более воздуха, певчий этот гонит усиленно, не переводя духа, воздух сквозь дыхательное горло и скважину его, или горловинку, и вы слышите чистый, ясный, звонкий свист с трелями и перекатами, как от стеклянного колокольчика, только гораздо протяжнее. Это не иное что, как свист дыхательным горлом — явление физиологически замечательное, тем более что грудной голос вторит этому свисту в то же время глухим, но довольно внятным однообразным басом. Сильная натуга видна в это время на лице песенника: оно вздувается, краснеет, глаза наливаются кровью.

Башкир на себя работает неохотно, только по нужде; его дело разъезжать с нагайкой и сибирской винтовкой по горам, сунув за щеку вместо жвачки кусочек рубленого свинца, из которого зубами округляет запасную пульку; его дело пить кумыс, есть вкусную и жирную кобылятину или баранину, любясь табунком лошадок своих; валяться, отдыхать, петь вполголоса песенку или слушать вечером при огне чибызгу или рассказчика и вспоминать прошлое богатырское время, бывшее и небывалое. Южные башкиры воинственны и ждут, как ворон крови, вызова охотников для поиска в степь на заклятых врагов своих, на кайсаков; северные, частью уже перемешанные с мещеряками, к оружию непривычны.

Сядем и мы на широкую кошму, около пылающей огромной сосны, стонавшей столько раз от бурного порыва ветров и отстоявшей ныне в последний раз под ударами небольшой башкирской секиры; закройте перед собою рукою яркое полымя и глядите на бездну искр, которые змейками взмывают скорее самой мысли, реют по синему мраку туда и сюда и гаснут; ветер уносит пепел их, развеивает дым, и высокая сосна в глазах ваших отжила,

истлела, обратилась в прах — уже не существует! И Зая-туляк был, и он разрушен стихиями, и нет уже следа плоти его и самого праха; осталось одно только славное имя его да память по нем в сказках.

* * *

В двенадцатом башкирском кантоне есть место в 1800 квадратных верст, где нет ни одного русского, ни татарина, ни мещеряка, ни чувашина, ни мордвина, ни вотяка, ни тептеря, ни черемисина, нет вовсе этих так называемых припущенников и переселенцев, которые обще с нашими заводчиками переполосовали и испятнали уже почти всю Башкирь, тягнутся лет по тридцати и более с родовыми жителями, владеющими землями на вотчинном праве, и частию уже оттягали сотни тысяч десятин богатейших в мире земель, расквитавшись с вотчинниками-башкирами или десятилетнею давностию владения, или любовною сделкою, тремя головами сахару, фунтом чаю или словесным обещанием не припускать никого более на их земли; земля эта, о которой говорю, лежит в Белебеевском уезде и принадлежит четырем родам или волостям, известным под общим названием демских башкир, по реке Деме или, вернее, Диме. Здесь есть степи, луга, речки, озера, горы и леса. Демские башкиры еще кочуют и даже держат верблюдов, старина ими еще не совсем забыта.

Тут-то, неподалеку заводов: Усть-Ивановского, в тридцати от него верстах, и бывшего Курганского, где остались ныне только три избушки на Сырте, разделяющем долины Димы и Большого Ика, лежит озеро Ачулы, или, как башкиры, не выговаривающие буквы ч, его называют, Ассулы. Северные берега его возвышаются исподволь довольно ровною степью; у восточной их оконечности выступает мыс Малый Нра; западные берега состоят из возвышающихся постепенно, к вершинам речки Чермасана, гор; они кажут нам с озера хороший вид: они идут, постепенно возвышаясь, уступами; северная их половина, прилегающая к степи, гола; южная образует одеждою своею переход к соседнему Усенскому лесу. Здесь видите вы, начиная от севера, горы: Бурлытау, Бика-тюбе, Караул-тау, Кучлар-коро, Келим-бет, Угуз-кул, Тирен-кул, Таш-бурун и Карагач. Северные горы, прилегающие к степи, круты, поросли одним ковылем и выказывают расчесанные буйным ветром округлые к озеру и нагие вершины свои, словно седые полуплешивые головы отживших старичков; Бурлы-тау упирается в озеро красною глинистою пятою своею, мысом Зур-Нра; Тирен-кул спускается волнистыми уступами, которые близ озера называются Искиз-Ма; наконец, Карагач, у которого за плечами огромный Усен-Ивановский лес, раскинул перед озером Ачулы волнистую, уступистую грудь свою и вынес еще на себе на окраине каждого уступа лесистую опушку. Карагач на северо-западе подает руку Угуз-кулу, и у них из-под мышек вытекает речка Курьятмас. С хребта Карагача видны лесистые Чармасанские горы на юго-западе. На юге и на востоке озера вы опять видите одну волнистую степь, а в полуверсте от озера — уступ или увал. Юго-восточный берег — солонец, весною топкий, летом сухой. Таким образом, озеро образует продолговатую водную плоскость, длиною в семь, шириною в пять верст, с двумя перехватами, от мысов Большого и Малого Нра. Глубина озера до десяти сажен. На севере неподалеку аул или зимовка Чапай, на юге Варангул и Курьятмас, а вокруг — кочевки аулов Кидряч, Баран-гил и Мекеш. На юго-западе, в березовом и липовом лесу, Усен-Ивановский завод; на реке Усене есть и сосновый лес, единственный во всей

окружности.

С рассветом в летний день густые туманы встают с Ачулы-куля, с озера, и тянутся столбом, перегнувшись коромыслом на призыв к Усен-Ивановскому лесу, и лес походит издали на огромное дымовье, из которого синий дым тянется, перегнувшись и постепенно расстилаясь к далекому озеру; около полудня Усенский лес убрался и управился с прическою своею, оделся облаками или тучами, но незваный гость и закоснелый враг всякой прически горный ветер растрепал уже снова буйную голову Усеня, разогнал волны кудрей его во все четыре стороны, а тучки быстро несутся по ветру, чтобы к ночи снова пасть туманом на дремлющее озеро.

Но глубина и самые берега озера Ассулы непостоянны; не потому, чтобы внешние притоки его изменяли, не потому, чтобы наносные пески, которых здесь нет, его засыпали, а просто потому, что в озере этом жила когда-то прихотливая ундиа, баловливая русалочка, которая хозяйничала здесь по произволу, а теперь живет еще вечною жизнью отец ее — падишах духов водяных и подводных. Он добр, но угрюм и суров: он не играет и не шалит, но он, негодуя на злые дела, на помышления людские и предвидя в прозрачном царстве своем всякую беду как следствие дел и замыслов наших, вздымает подвластную ему стихию, разливает ее через край и грозит затопить окрестности; потом он стихает, щадит неразумных, озеро вступает в лоно свое и стоит спокойно в берегах, доколе новое событие не встревожит падишаха, и старик снова в негодовании своем потрясает косматою головою.

Озеро Асуллы, или Ачулы, — в переводе: открытое, отверстие, бездонное, или, может быть, вернее, сердитое, — в самом деле разливается и упадает, прибывает и убывает непостоянно, неравномерно, без всяких видимых причин. Башкиры уверены, что первое делается только перед какою-нибудь бедою. Они сосчитают вам по пальцам не только события от 1772 года по 1860-й, от Емельки Пугачева и до мятежа в Польше, не забыв ни одной войны нашей, ни одного местного или общего для империи бедствия, но прихватят ину пору такой старины, что после того события или времени во всех уездных городах нашей губернии раз по семи уже погорели все архивы и вам было бы негде навести справку ни о событии, ни о тогдашнем состоянии озера Ачулы, если бы исправник и доносил в то время о последнем обстоятельстве, как ныне, присовокупляя иногда, что «озеро Ачулы-куль вздувается и прибывает по примеру прежних лет и, по-видимому, Божьею волей, ибо при обследовании дела ничего подозрительного не оказалось». У восточной оконечности озера тянется овраг, в который заливается вода, когда озеро в разливе.

На северо-западе от Ачулы, верстах в пятидесяти за вершинами рек Чермасана, Чукады и Нугуша, лежит такое же дивное озеро Кандра, Кандра-куль. На юге от него горы с редким лесом; на западе обрывы и увал каймой, тут же мыс и островок, на котором башкиры пасут лучших коней своих, потому что они здесь в безопасности даже и без пастуха; на севере — песчаная, кочковатая, поросшая травой покатость и далее степной кряж уступом, тут же тянется ров, или овраг, от самого озера до лощины реки Нугуша, и вода течет во время разлива озера по этому рукаву; на востоке — мочижина, болотце, и далее холмистый увал. На Кандра-куле стоят три аула, или деревни, все три Кандры; озеро покрыто челноками рыболовов; замечательно, что в Кандра-куле есть сомы, а нет вовсе карасей, а в Ачулы, обратно, сомов нет, а карасей много. От Кандра-куля на юго-западе, саженьях во ста, в горах, лежит озерцо Тюменски, а из него течет речка Тимошка и впадает в Кандру. И Кандра-куль составляет еще часть владения дяди струя и прибывает и убывает постоянно, одинаково и в одно время с Ачулы-кулем. Есть предание, что в Кандра-куле потонул когда-то конный

башкир, разгневавший чем-то царя влаги: долго башкир пропадал без вести и наконец выплыл, с лошадью своею, мертвый в Ачулы-куле. Умные старики похоронили его в неведомом месте, чтобы незваные посетители и любители тризны и поминок не нарушали покоя, не раздражали царя-нелюдима.

Но надобно, приступая к дивному рассказу, кончить описание местности. Юго-восточный берег Ассулы за грязным солонцом окаймлен степным увалом, за которым вытекает речка Ачулы-Удряк, одна из трех Удряков, составляющих главный, или большой, Удряк, впадающий в Диму. Южнее Учалы-Удряка встречаете еще увал, или небольшой гребень, за которым вытекает речка Тюлян, также один из притоков Димы. По левому берегу Тюляна тянется невысокий хребет, который верстах в десяти обращается в отдельные, волнистые, довольно высокие ступени; юго-западный скат их идет к Тюляну, северо-восточный образует, обще с горами Кяме-тау, Шаро-чагыл и Карабаш, долину, среди которой возвышается отдельно и одиноко сахарная голова в пятьдесят сажен или более, известная под именем Балкана. На правом берегу Тюляна, у вершин его, стоят две такие же сахарные головы меньшего размера: это Шайтан-сары и Санай-сары. Здесь происходила когда-то страшная битва Санай-батыря с шайтанами. Санай-батырь, преследуемый множеством злых духов, занял для защиты своей вершину одной горы, а шайтаны, желая сбить его и вогнать в долину, взобрались на другую. Санай не подался ни шагу: исстреляв все стрелы свои и перебив множество шайтанов, он изломал сам лук свой, закололся и лег на месте; и гора эта поныне показывается вам как могила Санай-батыря.

Между Ачулы-кулем и Димою кочевал в древние времена хан Самар-хан, один из сыновей Чингиса. У Самар-хана был сын Зая-Туляк. Юный князь был любимец отца и матери своей, прекрасной пленницы русской, которая плакала и тосковала по милой отчизне своей, покуда не излила тоску и грусть свою в новое существо и забылась в сыне. Зая-Туляка берегли и холили, как царского баловня и любимца; он был хорош, как солнце, и не было на Диме достойной его луны. Завистливые братья Туляка, сыновья других жен Самар-хана, озлобились на балованья: «Чем он лучше нас, за что его холят, как зеницу ока, не выпускают за порог кибитки ханской, между тем как нас заставляют нести службу и заботиться о суетах житейских? разве мы не одной с ним крови?»

А Зая-Туляк думал в это время: «Зачем мне не дают воли, хочу воли, свободы, а не плена! Зачем братья мои объезжают свободно отцовские земли из края в край, из конца в конец, дерутся с врагами и приводят ясырей, пленников и пленниц, а я сижу сложа руки? О, если бы мне была воля! Я бы себе отыскал, и взял, и привез не такую пленницу, как братья мои: я нашел бы дивную красавицу, неслыханную и невиданную!»

Самар-хан созвал приближенных своих и велел им готовиться в отъезд. «Сыну моему Зая-Туляку, — сказал он, — пора увидеть свет. Пусть он увидит его в первый раз с веселой, радостной стороны, как должен видеть его достойный внук Чингиса; забирайте с собою лучших соколов моих, ястребов, кречетов и беркутов, бейте утицу перелетную, бейте курткула, косача-тетерева, пускайте беркута на лису и волка, пусть потешается царский отрок, и берегите его, как заветную душу свою!»

Зая-Туляк, простившись с отцом и ханом, сел на лошадь, и пышный поезд тронулся. Вельможи раболепствовали юноше, неопытному царскому сыну, доколе еще страшились проницательного ока Самар-хана; удалившись же от ханского кочевья, нагло смеялись простоте и неведению отрока белой кости и поднесли ему сову, которую поймали в дупле, вместо отцовского кречета. Зая-Туляк, не видевши травли соколиной и не зная ловчих

птиц, поверил им на слово, пустил птицу свою на первую встречную вереницу диких гусей, тянувшихся клином; птица взмыла выше гусей перелетных, поджала махистые плечи, ринулась клубочком в стаю, ударилась стрелою вправо, потом влево, опять вправо, промелькнула, зубчатою молниею ныряя каждый раз серому гусю под левое крыло, — и семь гусей сряду полетели кубарем на землю. Стая всполошилась, перемешалась в один клубок, поднялась столбом, гуси хотели забить крыльями дерзкого неприятеля своего, но ловчая птица Зая-Туляка камешком упала на хозяина своего и сидела уже у него на правой руке. Оказалось, что это была не сова, а дорогой белый кречет, и бил лучше всех соколов царских.

Злобные и завистливые братья Зая-Туляка, отпуская придворных отцовских, сказали им притчу: «Тесно трем отросткам расти на одном корне и мало им пищи; если бы подчистить и выкинуть один, который ближе других к дуплистому дубу, так двум остальным было бы попривольнее, перевели бы они дух и распустили бы широкие ветви, под которыми нашли бы со временем тень и нынешние их покровители». Придворные и сам Куш-беги, первый сокольничий (а Куш-беги, как и ныне, например, в Бухаре, был первый сановник государства), — придворные промолчали; но когда заехали они с Шах-Заде, с сыном ханским, в далекую сторону и когда неудачная насмешка над Зая-Туляком поставила их самих в дураки, между тем как у Туляка оказался первый по царству кречет, который побивал разом по семи гусей, тогда взяла людей этих злость и зависть; они вспомнили слова и обещание двух князей, братьев Зая-Туляка, и стали совет советовать, как известить поверенного им наследника.

Зая-Туляк вышел в светлую лунную ночь из парчового шатра своего, сел наземь и любовался Божьим миром, между тем как юлдаши его, спутники, думали, что он давно спит; он услышал нечестивый совет вельмож и решился бежать. Подкравшись потихоньку к оседланному коню своему, снял он с него треногу, потрепал его, сел и поскакал. Но в стане сделалась тревога, закричали: «Атлем! на конь!», погнались за князем и стали его настигать. Под ним была лошадь Тульфар, она сказала хозяину своему: «Ударь меня нагайкою трижды, и я тебя вынесу». Он ударил жеребца своего, и этот в три скачка принес его на гору Карагач, к озеру Ачулы. Погоня потеряла Зая-Туляка, а он спокойно лег отдыхать, пустив Тульфара своего на траву. Конь его проскакал по степи в таких широких скачках, что пустившиеся за Туляком не могли выследить его по измятой копытами траве: следы были затеряны.

Раскинувшись на одном из уступов Карагача, на котором, как показывает и самое название, в те поры рос лиственный лес, Зая-Туляк закрыл очи, стал думать о том, куда ему теперь деваться, как вдруг услышал на берегу озера плеск. Зая-Туляк стал присматриваться, легонько подходить, и его тянуло все ближе и ближе к озеру. Он увидел, чего еще никогда не видал: заря занималась, восток алел, утренние туманы развевались на поверхности Ачулы-куля, и среди туманов этих, как окутанная полупрозрачными тканями, плескалась дева вод, статная, гибкая, красоты непомерной, во всей прелести девственной полноты и миловидности. Она, не примечая Зая-Туляка, вышла на берег, села и стала расчесывать золотым гребнем черную косу свою длиною в сорок маховых сажен.

Зая-Туляк не смелдохнуть; наконец, когда она закинула косу свою назад, во всю длину, он кинулся со всех ног, — русалка прянула, как пух от ветра, на зыбкую влагу, но Зая-Туляк держал уже в руках своих шелковую косу и не выпускал дорогую свою пленницу. Русалка, скрестив руки на груди, оборотила к нему умоляющие взоры, но они изменили девственной жилище подводных чертогов: Зая-Туляк впился жадным оком в полу-обращенное личико и держался за шелковую косу русалки, как юная угасающая жизнь хватается за

преждевременно отлетающую душу. Русалка стала умолять Зая-Туляка: «Пусти меня, о сын плоти! пусти, я живу спокойно и безмятежно в чертогах водных; пусти ради себя самого: ты погубишь меня, но ты погубишь и себя!» Когда же Зая-Туляк не уступал и самым убедительным мольбам ее, а клялся следовать за нею и на дно озера, тогда русалочка обвинила его своею мягкою косою и увлекла в глубокие воды.

Зая-Туляк увидел на дне озера роскошные луга, по которым ходили кони, быстрее и красивее коня Тульфара; посреди муравчатого луга стояла обширная белокаменная кибитка, устланная внутри дорогими коврами. Туда привела его русалка, обняла, заплакала и сказала: «Ты хотел этого — я твоя теперь; забудь прошлое, если можешь; не гляди на вольный свет, покуда меня любишь; сиди здесь, не выходи из кибитки моей — я теперь твоя!»

Вскоре приехал к кибитке алый всадник в алом чапане, на алом коне, с алым соколом на луке седла, — это был брат русалки. Она спрятала Зая-Туляка в свою девичью половину кибитки, за парчевой полог. Алый брат оглянулся в кибитке и сказал: «Сестра, здесь что-то пахнет человеческим духом». — «Немудрено, — отвечала, улыбаясь, русалка, — сами вы ездите на охоту по горам и дебрям; сам ты приехал теперь с лица земли, где живут люди, немудрено тебе занести сюда и человеческий дух».

Немного погодя приехал черный всадник: конь под ним вороной, чапан черный, шапка черная, оружие черное и черный сокол на передней луке. Это был отец русалки. «Никак, дочь, здесь пахнет человеческим духом», — сказал он. «Немудрено, батюшка, — отвечала дочь, — только мне бы вас об этом спрашивать, а не вам меня. Вы приехали с лица земли; видно, вы или вороной конь ваш на копытах своих занесли сюда и дух человеческий».

Так русалочка тайла от отца и брата любовь свою и выпускала Зая-Туляка из-за полога, только когда те отъезжали на ловлю. Она приносила любимцу своему каждое утро и каждый вечер свежего кумысу, круту, салмы и баранины и, поцеловав своего суженого, ставила перед ним сытные яства и напитки.

Однажды алый всадник, брат русалки, воротился домой рано и услышал, подъезжая, говор людской. Он стал допытываться, сестра ему во всем призналась и со слезами умоляла брата не рассказывать о преступной любви ее. Брат побранил сестру и сказал, что надобно обо всем объявить отцу: его власть, его и воля. Черный всадник приехал, и брат с сестрою вместе встретили его и рассказали все. Русалка говорила: «Я не искала его, я не хотела его, я бежала от него и скрылась в заветное озеро, но он упорно держался за шелковую мою косу, я ушла на дно озера и потянула его с собою».

Черный всадник нахмурил брови — и весть разнеслась на ханском кочевье, на Диме, что Ачулы-куль прибывает и быть беде. Подумав и вздохнув, падишах подводный вызвал Зая-Туляка, сам же он не ступал ногою в заветный угол дочери за полог, вызвал и расспросил обо всем. «Любитесь, — сказал владыка Ачулы и Кандра-куля, — любите, коли олюбили: тут делать уже нечего. Тебя, дочь моя, бранить не за что: это твоя судьба. А ты, Зая-Туляк, слушай: не бесчести дочери моей за то, что отдал я тебе ее без калыма, принеси ты в калым невесте свою любовь да совет и не скучай с нею, а соскучишься — быть беде. Не ходи ты и на лицо земли: там не будет вам блага, а пойдешь — погубишь и себя, и ее».

Но Зая-Туляк с этой самой поры стал скучать в подводном тереме, в кибитке своего тестя. Русалка в одно утро ушла за кумысом шипучим, а Зая-Туляк вышел из кибитки и стал оглядываться кругом. Озеро поднялось высоко, обмывало уже уступы Карагача, а сквозь зеленую влагу его виднелись горы и леса, и верный конь Тульфар стоял на том же месте, громко ржал и топтал под собою землю. Туляку взгрустнулось; он вошел опять в кибитку, но

русалка, воротившись, глянула на него и залилась слезами.

— Ты выходил, — сказала она, — ты выходил, о, зачем ты меня ослушался!

— Я хочу опять на вольный свет, — сказал, подумав, Зая-Туляк, — сердце иссохнет, коли сидеть век свой в тюрьме этой.

Русалка молчала и плакала потихоньку, про себя. Воротился и черный всадник. Услышав обо всем, что было, он призадумался и спросил Зая-Туляка:

— Есть ли у тебя земля и вода?

— Земля моя — Балкан-тау, — отвечал князь, — а вода Дима, а все земли и воды, подвластные Балкану и Диме, — мое наследие.

— Ступай, — сказал старик, — коли тебе здесь не живется; ты не сосунок, тебя силою держать нельзя. Жена следует за мужем, а не муж за женою, это закон.

Русалка обвила мягкие руки свои вокруг Зая-Туляка и сказала:

— Бери меня, вези меня, куда хочешь, я твоя.

В первый и в последний раз, рассказывают, прослезился тут и сам старик.

— Вот вам конь верный, — сказал он, — садитесь и ступайте. Зая-Туляк! не забывай, если можешь, что ты отныне сам себе судья, а дочь моя твоя покорная рабыня. Дарю тебе обзаведение, на початок хозяйства небольшое приданое; когда выплывешь из нашего озера, то скачи без оглядки прямо на Балкан и не оглядывайся, доколе не будешь на Балкане, хотя бы за тобою небо треснуло и земля рассыпалась. Зятю должно довольствоваться тем, что от тестя получит, а преждевременное любопытство ему не идет.

Зая-Туляк подошел к коню, русалка подала ему стремя, он сел, взял ее на колена и помчался. Зеленая вода вскипела белым ключом под копытами доброго коня, и, выбравшись на отлогий берег, пустился он стрелой к востоку на Балкан. Зая-Туляк слышал за собою ржание, топот и страшный шум и плеск в волнах, — он невольно оглянулся и только успел увидеть, что из озера выплывает следом за жеребцом его целый табун отличных коней. Но за Туляком последовали те только лошади, которые были уже на берегу; все те, которые еще только было выплывали, потонули снова и исчезли в ту минуту, когда Зая-Туляк оглянулся. От этих-то лошадей, подарка ачулынского падишаха, произошла порода лучших димских башкирских коней. Ныне порода эта перевелась и переродилась, ныне лошади хотят корму и с трудом перемогаются зиму на тебеневке да на канзе, на рубленых древесных сучьях; древняя порода, которою славились димские башкиры, со времени Зая-Туляка была съята с одного гону, а корму не спрашивала.

Молодой князь с русалкою поселились на Карагаче, где князь нашел и покинутого коня своего, и жили они несколько времени спокойно. В одно утро русалка, скупавшись в озере и расчесав долгую косу свою, подымалась на гору, как услышала со стороны Димы глухой конский топот и увидела пыль. Чуткое сердце ее не обмануло, она прибежала в слезах к Зая-Туляку и сказала: «Отец твой шлет за тобою погоню!» Туляк думал было противиться силою, потом хотел бежать, но она умоляла его остаться, не противиться воле отцовской, следовать за посланными, не говорить никому о тайной любви своей и воротиться на Карагач, когда и как будет можно. «Бежать тебе некуда, — говорила она, — прошлого не воротишь, на дне озера со мною уже по-прежнему жить не можешь — это миновалось, как сон!»

Самар-хан, услышав от воротившихся вельмож, что сын его бежал — о причине этого побега придворные благоразумно умолчали, — послал сорок тысяч войска искать сына по целому свету. Войско это приближалось теперь и уже открыло следы нового жилья молодого

князя; Зая-Туляка взяли и повезли к отцу, а русалка, выждав на мысу Большой Нра приближение посланных, кинулась с крутого берега и исчезла.

Когда до хана дошла весть, что сын его найден, то он, сомневаясь в любви его и приверженности, вздумал его испытать. Для этого Самар-хан посадил в кибитке своей одного из подданных в великолепной одежде на престол, а сам в простом синем чапане стал у дверей перед входом. Зая-Туляк, проходя мимо, узнал отца, но вошел в кибитку, где, как говорили ему, восседает хан, поклонился мнимому властелину и сказал: «Как изменчивы времена! Прежний хан стоит у порога, а бывший раб сидит на престоле!» Самар-хан, разгневанный равнодушием и холодностью сына, велел на месте выколоть ему глаза и отвести снова на Карагач, но вещий дух русалки парил над несчастным своим любимцем; палачи Самар-хана не успели еще приступить к сыноубийству, как совершилось чудо: Зая-Туляк в горести своей закрыл лицо руками, и глазное яблоко выкатилось из обоих глаз целиком к нему в руки. «Бог отомстил за меня», — сказал Самар-хан. Палачам не надо было трудиться, и ослепленный сын царский был отвезен и брошен на произвол судьбы на угорье Карагача.

Верная русалка, разметав шелковую косу, которую не чесала со дня отбытия любимца своего, стерегла уже и ожидала друга; она коснулась устами очей Зая-Туляка,дохнула на них, и они снова ожили и заиграли по-прежнему в обеих ямках.

Лишь только Зая-Туляк прозрел, как стал он снова скучать бездействием своим и одиночеством. «Пойдем жить на Балкан, — сказал он своей русалке, — с Балкана видно далече во все стороны: мы будем знать и видеть, где что делается, и это будет жилье, приличное ханскому наследнику! Карагач-гора для меня место низкое».

Русалка заплакала, только молчаливой лунной ночи поверила она одинокую грусть свою, вышла на тихое озеро, любовалась серебряным его отливом, села на берег, на крутой мыс, и тихо запела:

«Не лепите, пчелки, сот своих в диком бору: медведь придет и выдерет, а вам покинет дупло; не носите, русалочки, тихое блаженство свое в люди: люди попрут его ногами, а корысти им с него будет мало.

Оглядывается красное солнышко с заката на восход прошлый, да не воротится; не видать вечерней заре зорюшки утренней! Оглядывайтесь, сестрицы, на свою зорюшку утренню, да не воротить вам ее, не любоваться ею вдругожды!

А дважды василек в землю ложится: из земли вышел и в землю падет прах его. И ты не лучше василька небоцветного: не выходить было на свет, а вышла, так набедуешься, поколе не преклонишь головку к лону родной матери!

Желна черная и белая лебедка в отлет летят, а теплынь придет, опять домой к родному гнезду тянутся; а мне, сиротке от живого отца, мне до веку не видать струи твои, Ачулы-куль родимый, серебристый мой!

„Прости“, — сказал мотылек родимому стебельку, родному зеленому лугу, когда пришла пора, что подул ветер полунощный, заволок заповедные луга сизым инеем, зазнобило мотыльку летки и щупальце; „Прости“, — говорит свободнорожденная дочь Ачулы-куля родному озеру, Карагачу лесистому, Ташбуруну каменному, Тирен-колу холмистому; „Прости“, — говорит она родным берегам, колыбели своей, Ачулы-озеру!»

Так русалочка поплакала одна над родным озером своим, а Зая-Туляку она улыбалась. Они перекочевали на Балкан; но едва успели они там поселиться, как русалочка на рассвете снова слышала чутким ухом своим топот конский, увидела отдаленную пыль. Она

прибежала к князю своему и молвила: «О, Зая-Туляк! было время, когда я, слышав шум и топот, спешила схорониться в волнах Ачулы-куля и в объятиях верной стихии находила спасение; теперь ты щит и защита моя, и я надеюсь только на грудь твою! Но, Зая-Туляк, ты меня не спасешь на этот раз, а кроме тебя, у меня защиты нет! Слушай, князь мой! за тобою опять идут; повинуйся и иди, искушение чересчур велико, ты не устоишь, и я тебя держать не хочу! Но, Зая-Туляк, помни последние слова мои: сорок дней и сорок ночей я буду сидеть здесь, на Балкане, и буду по тебе плакать; если ты не воротишься через сорок дней и сорок ночей, тогда ты найдешь меня, как находят алый цвет на зеленом лугу, по которому прошло войско отца твоего, Самар-хана, а растоптанный цветок не оживает — это помни!»

Вельможи и войско подошли с великими почестями к Зая-Туляку, объявили цветистою речью Востока, что душа отца его, хана Самар-хана, воспарила по пути, указанному душами отошедших, в рай небесный великих праотцев; народ и войско зовет Зая-Туляка на ханство.

Молодой князь хотел оглянуться на свою деву вод, но ее уже не было. Его посадили на покрытого богатою попоною жеребца и повезли на Диму, а восемь нукеров шли во всю дорогу пешком и вели поочередно жеребца его под узцы.

Справив по закону богатую тризну по отце, Зая-Туляк принял старшин, посольство от народа, приглашавшего его на ханство. Народ и войско качали молодого хана своего на руках, и на руках же, подняв выше голов своих, возвели на ханство — таков был обычай. Шумная многотысячная толпа пировала и ликовала, стекшись с целого владения. Берега Димы не могли поместить на себе бесчисленного множества кибиток, земля стонала от топота конского и людского, солнце устало светить пирующим и ликующим гулякам. Настала ночь, и огромные костры запылали, и солнце взошло снова, и костры еще дымились, кумыс играл в огромных чашах, в сабах и турсуках, чибызга напевала веселье.

А Зая-Туляк, посидев на престоле, соскучился опять по любимице своей и тяжело вздохнул, когда, оглянувшись во все стороны, увидел, что в целом ханстве его нет подобной. Ему наскучило быть и падишахом без нее, и он хотел уже отправить за нею послов, когда вспомнил, что заветный срок, сорок дней и сорок ночей, были уже на исходе. Он кинулся сам на лучшего скакуна своего, на котором вывез деву вод из Ачулы-куля, и поскакал один к одинокому Балкану.

Скоро бежит конь под Зая-Туляком; но какой конь обгонит солнце и какой конь воротит его на сутки и добежит до озера вчера, коли поскакал сегодня? Зая-Туляк зовет отчаянным зовом деву свою, а она молчит, потому что мертвые не говорят. Не встанет алый цвет, не подымет он бархатной маковки своей, коли через луг пронеслось грозное войско Самар-хана. Зая-Туляк нашел русалку свою на том же месте, где ее покинул, на вершине Балкан-тау, но она лежала, как василек после покоса.

Зая-Туляк выкопал булатным копьем своим двужонную могилу на вершине Балкана и золотым шлемом своим выбирал из нее землю, положил он в могилу это белое тело девы Ачулы-куля, закололся тем же копьем и упал мертвый на верную свою подругу.

Народ и войско долго искали своего хана и засыпали его наконец землею в изрытой им же самим могиле. Братья Зая-Туляка резались за ханство и все погибли; с тех пор народ утратил падишахов и ханов своих навсегда, растерялся и разбрелся по отрогам и долинам Урала.

Стало быть, Ачулы-куль и в те поры не даром взволновался и залил широко и далеко все берега: Самар-хан выколол родному сыну своему глаза, потом могучий хан скончался — а за ним погибли и Зая-Туляк, и бедная русалка, царевна Ачулы-куля, и брат поднял руку на

брата, и целое царство рушилось.

УПЫРЬ

(Украинское предание)

Отец Маруси был казак зажиточный, а мать ее добрая хозяйка, так они и жили хорошо, а как дочь была у них одним-одна, то они в ней души не слышали, баловали ее и одевали краше всех девок на селе. Марусе и всего-то был тринадцатый год; но когда она, бывало, в воскресенье выйдет погулять разодетая, как невеста, то уж к девчонкам не пристает, а все к большим девушкам, чтоб с ними скорее поровняться. И правду сказать, что скоро стали на нее все парубки заглядываться; а когда она еще немного подросла и сложилась, то все знали, что не только на селе, но и во всем повете не было красавицы против Маруси. Марусенька, рослая и статная, была и покруглее других, и потоньше их: она и не глядела простой мужичкой, и немного было таких пышных девушек даже между богатыми хуторянками.

И, видно, Маруся сама знала, как она была хороша, потому что, гуляя с подругами, не давала, однако же, никому из парубков к себе приступить, а, влюбив их в себя, тешилась над ними, забавлялась и только дурачила. От этого и прозвали ее *гордой* Марусей и говорили, что она не пойдет за простого хорошего человека, а разве только за паныча в тонкой сукманке. Маруся отшучивалась, а все держалась против парней строго; но подруг своих, девок, не чуждалась и часто их обдаривала и наряжала; а уж убрать голову, заплести и положить вокруг косы ленты, заткнуть к вискам пучочки цветов — этого никто не умел сделать против Маруси, хоть она и не училась этому нигде, а так сама знала. Бывало, когда время такое, что никаких цветков нет, то достанет пучок старых сухих, что и смотреть не на что, либо желтеньких да лиловых неувядалок, или хоть просто пучочек алой калины, да как только уберет этим голову свою, то ровно на ней все расцветет и заиграет, так она хороша, что ни одна девка не украсится против нее и самыми лучшими цветочками.

Пришла осень, и по обычаю от праздника Андрея Первозванного начались девичьи вечерницы; все собираются в одну избу, каждая приносит с собою что есть, пекут пампушки, вареники, пьют, и едят, и веселятся. Собрались они, и Маруся с ними; напекли и наварили всего. Вечером пришли и парни, один со скрипичей, другой с сопелкой, и началась пляска и такая гульба, что дым коромыслом. А Маруся все больше особнячком себе, как ломливая гостья; смотрит она и шутит, мотается туда и сюда, а до нее не дотыкайся никто. Наконец упростили ее, что пошла плясать, да и то с тем уговором, чтобы парень не трогал ее, а плясал бы сам по себе, а она сама по себе; как пошла, то все загляделись на нее, не могли налюбоваться.

Вдруг входит в избу молодец, которого никто прежде тут не видал: и собой пригож, и одет так чисто и хорошо, как у самых богатых казаков редко дети одеваются, одна шапка смущата чего стоит, пояс, чеботы, а платок шелковый, персидский. Поздоровался он со всеми, девушки сказали: «Милости просим», он тотчас и достал кошелек с деньгами и посылает парней за медом, пивом, наливками, пряниками и орехами. Вот одна из девок вызвала брата своего, чтобы шел скорее за лакомствами, а тот, взяв деньги от чужого молодца, стоит да и вертит их промеж пальцев. «Что ж ты?» — а он и показывает, что вместо четвертачка чуженин дал-таки настоящий золотой червонец! Тот глянул. «Все одно, — говорит, — ничего, ступай, там сдадут; а не то хоть на все возьми, коли съедят, на здоровье!..» Люди поглядели на него, переглянулись да и притихли, таких-де богачей в нашем околотке не водилось!..

Пошло гулянье, пляска, и Маруся не отказывалась плясать с чуженином, а он всех угощает и потчует, а сам с нею с одною только и водится. Так он, видно, сразу полюбил Марусю, да и она на него ласковее смотрела, чем на Михалка и на других; а плясал он так, что все на него загляделись и решили, что один он только в ровни Марусе и годится. Пришла полночь, и гость говорит, что пора ему домой; взял он шапку, утер лицо шелковым платком и просит Марусю, чтоб она его проводила хоть до ворот. Она было призадумалась, да девки спровадили ее. «Иди, — говорят, — отчего тебе такого хорошего человека не проводить?» Как только они вдвоем вышли, то он поцеловал Марусю и спросил ее:

— А пойдешь ли ты за меня?

— Что ж, — отвечала она, — вы, кажется, хороший человек, возьмете — так отчего не пойти?

Он поцеловал ее и ушел.

Воротившись, Маруся недолго посидела на вечернице, грустная, задумчивая, и никто не мог ее развеселить. Правда, что она не резва была и в прежнее время, а всегда держалась и пышно, и гордо, но все-таки она была теперь не та, что прежде; это заметили все и потому, посмеявшись, в голос решили, что Маруся полюбила чуженина и теперь уж подавно не захочет знать из ровней своих; а гость этот должен быть богатый хуторянин, коли не сам дворянин, но никто не знал, откуда он взялся.

Михалка, о котором мы упомянули, слушал также все это молча, подгорюнившись еще больше, чем Маруся, и скоро ушел. Это был добрый и предобрый детина, но не так богатый, а простой и работающий, который давно уже любил гордую Марусю, не смея ей сказать этого, и не надеялся увидеть своего счастья, потому что она не глядела на него, и он видел, что услуги его ей докучают. Он, горько вздохнув, побрел домой, посидел еще с часок на заваленке, прислушиваясь издали, как на вечернице гуляют, да раздумывая о горе своем, а потом вошел в избу, где отец и мать его давно спали, и также завалился, горемычный, на свое место. «Не видать мне счастья своего, — подумал он, — а другой не возьму, сердце не примет; так и буду колотиться, лишь бы день за днем проходил...»

Маруся пришла домой, и мать расспросила ее, хорошо ли она погуляла и что у них там было. Маруся рассказала все: и про чужого человека, красавца и богатого, который ее сватал.

— Кто ж он такой, — спросила мать, — и откуда?

— Не знаю.

— Так ты, доню, как пойдешь опять завтра вечером, верно, он будет, и расспроси его хорошенько обо всем.

На другой вечер Маруся оделась и нарядилась опять, как могла получше, и пришла на вечерницу, а вскоре пришел и вчерашний молодец. Михалка сердечный уж и не приходил больше, хоть его мать и посылала, а сказал: «Не хочу, что я там буду делать? есть без меня». Вот опять пошла гульба вчерашняя, опять молодец тряхнул деньгами, всех употчивал лакомствами и плясал с Марусей на диво: она была так весела и игрива, что все ею любовались; а когда жених ее пошел домой и вызвал ее опять проводить его, то она спросила его, кто он, откуда и как его зовут? Он отвечал, что он панского роду, а не простого, что у него богатый хутор и много скота, а зовут его зовуткой: «Какая тебе нужда, Петра ли ты полюбила, Максима ли? как бы ни звать, а за имя не разлюбить стать!» С тем и ушел.

Маруся прямо пошла домой и рассказала все матери, а та дала ей на другой вечер клубок пряжи и сказала: «Когда будет уходить хуторянин твой и с тобою прощаться, то прицепи ты ему нитку, а сама стой и разматывай клубок, покуда нитка больше не будет

тянуться; тогда пойдй осторожно по нитке следом за ним, и ты увидишь, по какой дороге и куда жених твой ушел».

На другой вечер все шло по-прежнему; девки насилу дождались тароватого чуженина, который всех их потчует всякими лакомствами, так хорошо пляшет и веселит всю вечерницу; он опять ухаживал более всех за Марусей и позвал ее за собой в проводы. Тут она сделала, что велела мать, и наконец, никому не сказав ни слова, пошла одна ночью, чтоб выследить своего хуторянина. Нитка недолго шла по улице, а, повернув по проулочкам, пошла через плетни, дворы, а там задами на край села; Маруся остановилась было, но, подумав, бойко пошла по ней дальше. «Неужто я своего суженого буду бояться? — подумала она. — Пойду, куда он, туда и я; теперь же темно, ему меня не увидать, а хоть бы и увидал — нужды нет; скажу, что хотела узнать, откуда и кто он». Но Маруся вскоре опять робко остановилась: нитка довела ее до кладбища, которое было без огорожи или канавы тотчас за селом. «А что ж? — подумала она. — Коли он прошел тут, то и я пойду за ним; тут дедушка мой лежит и бабушка, чего мне бояться?» Еще раз десяток шагнула Маруся, и нитке был конец: она уходила в землю. Чтоб увериться, так ли это, Маруся потянула за нитку: кто-то сильно дернул ее к себе в землю, оборвал в руках Маруси и отвечал на испуг Маруси не голосом, а синим огнем, который вспыхнул на могиле и погас. Бедная девка, не помня себя, бросилась бежать, спотыкаясь впотьмах и падая, и наконец чуть живая добежала домой; тут она долго отдыхала и потихоньку вошла в хату.

Мать, однако ж, услышала ее и спросила:

— Что, доня моя, был он?

— Был.

— Что ж?

— Обещается взять за себя.

— А по клубку следила?

— Следила, да недалеко; оборвал он нитку и бросил.

Наутро Маруся весь день ходила как сама не своя, с больной головой, и ничего не могла ни припомнить хорошенько, ни понять; но ей чудились во сне и наяву такие страсти, от которых в ней замирала кровь: будто видела она, когда вспыхнуло синее пламя, что делалось под землей, в могиле, и будто милый ее, страшно сказать, грыз там покойника. Она все молчала, не смела ничего сказать; прошел вечер, и мать ее опять посылает: «Иди, доня, да играй и веселись хорошенько, чтоб любо было и тебе, и другим». А мать, которая, бывало, часто журила Марусю за гордость и недоступность ее, боясь, чтоб не ославилась она через это и чтоб не откинулись все женихи, рада-радешенька была, что дочь наконец хоть кого-нибудь нашла по себе, да еще богатого хуторянина.

Пошла дочь, и все опять до конца было то же; только она боялась идти провожать своего жениха и хотела было отказаться; но прочие девки все за него заступились и выпроводили ее почти силой: «Иди, чего ты, дура, боишься? с таким молодцом? да впервые, что ли, тебе провожать его?»

Пошла. Он остановился, спросил опять:

— Пойдешь за меня?

Ей нечего больше говорить, отвечает:

— Пойду.

— А была ты вчера ночью на погосте?

— Нет, не была.

— А видала там что-нибудь?

— Нет, не видала ничего.

— За это завтра твой отец умрет, — сказал он и пошел.

Страшно Марусе бедной, и тоска напала на нее смертная, а деваться некуда: пришла домой и молчит. День настал, она бродит, ровно без ума, не знает, что Бог даст, что будет. Пришла рано по воду, приходит с ведрами домой от колодца, — мать голосит, говорит, отец вдруг помер. К вечеру его похоронили, а Маруся, бедная, сидит, забившись подле печи, закрыла лицо руками, свету Божьего не видит. Настала ночь, и подружки за нею пришли звать на вечерницу, чтоб хоть немного ее развеселить; она не хочет, так и мать говорит: «Поди, доню, что тебе тут делать! Хоть посиди да погляди на других...» Девки заговорили ее и потащили дружно силою за собой.

Маруся села, подгорюнясь, в углу, не стала ни петь, ни плясать, ни играть, а когда пришел жених ее и стал расспрашивать, отчего она такая невеселая, то девушки отвечали за нее, что у нее, бедной, сегодня отец умер. Маруся тряслась, как лист; молодец пожалел, стал ее утешать, потчевал всех по-прежнему, пел и плясал, а уходя, опять стал ласково просить, чтоб Маруся его проводила. Она потрянула головой, но подружки подняли ее насильно и отдали в руки чуженина; Маруся вздрогнула, затряслась, но будто не своей волей молча пошла за ним.

— Что, Маруся? — спросил он ее на дворе. — Была ты третьего дня ночью на погосте, ходила за мною следом?

— Нет, не была.

— А видала там что-нибудь?

— Ничего не видала.

— За это у тебя завтра мать умрет.

И пошел сам своей дорогой.

Маруся упала, хотела кричать, но не смогла; у нее не было ни силы, ни голоса, ровно кто рукою зажал ей рот, так что она не могла дышать и обомлела. Девкам было не до нее: у них шло там свое веселье; а если кто и вспомнил про нее, так думал, что она пошла с молодцом либо ушла домой. Долго ли она лежала, и сама того не помнила, но, очнувшись, она пошла домой, легла и всю ночь тихонько проплакала. На заре мать ее вдруг начала стонать и через час ни с того ни с сего отдала Богу душу. На бедную девку напал такой страх, что она уж не могла и плакать.

Что ж? живой не без места, мертвый не без могилы: похоронили и мать, больше делать было нечего. Осталась бедная Маруся одна, и так ей страшно стало в пустой избе, что заперла она ее и пошла к соседям. Там она просидела до вечера; и опять пришли товарки ее, чтоб не дать ей загруститься и закручиниться, и, жалеючи ее, против воли увели с собой. Она, бедная, совсем была без памяти, не опомнилась еще и не опозналась в сиротском одиночестве своем и сидела среди общего веселья, будто пришла с того света. Вдруг все радостно зашумели; Маруся вздрогнула — к ней подошел чуженин.

— Полно тужить, Маруся! — сказал он. — Вот я опять к тебе пришел; тугой поля не изъездишь, нудой моря не переплывешь! Пойдем плясать!

— Не троньте ее, бедную, — сказали девушки. — У нее сегодня мать умерла!

— Как? — сказал тот, удивившись этому новому горю и крепко жалея бедную Марусю. — Вчера отец, а сегодня мать? Шутите вы?

— Нет, кто шутить станет, избави Бог!

— Бедная ты, сердечная моя! — сказал тот. — Как же ты теперь жить станешь круглою сиротою, вести хозяйство, управлять домом? Тебе нужно искать доброго человека... Как вы рассудите, люди добрые, я на всех на вас пошлюсь, правду я говорю?

С этого слова пошли шутки; Маруся молчала на все, что ни говорили, хотела было уйти, но не смогла, а сидела, как прикованная; когда же ненавистный ей жених собрался идти, не поддаваясь ни на какие просьбы девушек остаться еще и погулять, то он опять ласково позвал ее в проводы. Маруся взглянула на него в первый раз во весь вечер, встала и пошла за ним. «Теперь я ничего не боюсь, — подумала она. — Пусть делает со мною, что хочет!»

— Любишь ли ты меня, Маруся? — спросил он ее.

— Нет, не люблю.

— А пойдешь ли за меня?

— Нет, не пойду.

— Стало быть, ты меня обманула?

— Ты первый меня обманул, а я потом.

— Ну а признайся, ходила ты за мною следом, была на погосте?

— Нет, не была.

— А видела там что-нибудь?

— Ничего не видала.

— Ну так за это ты завтра к вечеру и сама помрешь.

— Дай Бог! — сказала бедная Маруся. — Дай Бог! Чего мне еще оставаться тут?

Но едва успела она это выговорить, как вдруг, и сама она не знала с чего, пришел ей на ум Михалка, которого она с таким презрением всегда от себя гоняла, а теперь и давненько уж не видала, потому что он не навязывался, а с того вечера, как в первый раз появился чуженин, ни разу ей не попадался на глаза.

«Что делать, бедный мой Михалка, — подумала она. — Видно, такая судьба наша, и твоя, и моя!» И залилась горячими слезами.

Задумавшись, повесив голову и опустив обе руки, побрела она домой и, забывшись, вдруг остановилась перед порожней хатой своей, взглянула, вздрогнула, заломила руки и долго глядела на темные окошечки; потом она повернула назад и пришла ночевать к соседке. Та приняла ее чадолюбиво и долго еще утешала, не замечая, что бедная Маруся не слушала утешений этих и даже не слышала их.

Рано утром пошла она домой, посидела в одинокой избе своей, помолилась, напоила скотину, пошла на могилы отца и матери и заплакала там, воротилась домой и заперлась, будто ее нет. Она хотела умереть так в одиночестве своем, веря словам страшного чуженина, который ей доселе пророчил одну правду; но вскоре взяла ее такая тоска и даже страх, что, вспомнив о слепой бабушке своей, жившей верстах в семи, она вышла, заложила волов и поехала к старухе, которую уж очень давно не видала, поехала выплакать перед нею горе свое. Ей хотелось чего-нибудь родного, а тут она была одна, между чужими людьми и даже не смела подумать о бедном Михалке, который теперь также сделался для нее чужим.

— Здравствуй, бабушка!

— Здравствуй, доню; кто ты? Я что-то не признаю тебя по голосу...

— Ох, бабуся, и давно уж ты меня не слышала; я Маркушенкова Маруся, внучка твоя!

— Так здравствуй же, я рада тебе; что отец и мать, дочка моя?

— Худо, бабушка; оба перед Богом, померли.

— Перед Богом! — сказала слепая бабушка, перекрестившись. — Так тут ничего худого

нет; я и близко живу, да не слышала еще об этом; а вот тебя жаль, ты в девках еще?

— В девках, бабуся; ведь я еще молода!

— Знаю, помню, ты родилась в тот год, как у вас по дорогам стали канавы копать; годов семнадцать, чай, будет... Да, так будет; когда я ослепла, так тебе был одиннадцатый годок. Ну, как же ты теперь живешь?

— А так живу, бабуся, что приехала к тебе умирать...

— Христос с тобой! Зачем так? Тебе ли умирать? Это наша доля, а вам жить!

— Ох, бабушка! Погубила я и отца, и мать... Когда он, злодей мой, сказал мне, что и мой черед настал, то я обрадовалась, будто свет увидела; а теперь, как время подходит, так страшно!

— Ну, дитятко, — сказала бабушка, — прошлого не воротишь, нечего о нем и вспоминать; а пострадала ты довольно, и тебя журить — дела не поправить. Слушай же ты меня: любовник твой — это упырь; он встает из могилы, морит и ест людей... Простись теперь со мною и сейчас поезжай домой; там выбери хорошего надежного человека, которого бы мир послушался и не стал бы с ним спорить; подари ему пару волов своих — они тебе уже не нужны — с тем, чтобы тебя, как умрешь, не выносили хоронить в двери, а подкопали бы порог и пронесли под порогом. Дом и все, что есть, отдай попу на церковь, и только!

— Бабушка, все, что говоришь ты, все сделаю верно; да скажи же мне, что с этого будет?

— А вот видишь что, доню: когда есть человек на свете, который тебя по правде и всем сердцем любит, то он тебя найдет.

— Как найдет, бабушка, когда умру?

— Ну, умрешь так умрешь; нечего делать, и все мы умрем; а если нет такого человека, чтоб тебя, девушку, любил, — ну, тогда другое дело, и я ни в чем не властна.

Заплакала Маруся, простилась с бабушкой, а бабушка, как ни любила внучку свою, давно уже разучилась плакать, не прослезилась. Внучка поехала домой. Вот тут-то болело сердце ее по тому человеку, которого она из одного только тщеславия удалила от себя, тогда как он ее любил, да и сама она, если б только дала сердцу своему волю, полюбила б его давно... Прошлого не воротишь! «Нет, — подумала она. — Такого человека нет, чтоб меня, девушку, любил... За что Михалке любить меня?»

Приехав домой, она тотчас распорядилась, как ей было сказано, сославшись на слепую бабку свою, против которой никто не посмел спорить. Никто не верит, однако ж, чтоб Марусе пришло время умереть, думали, что она с горя начала бредить... но к вечеру соседка заглянула в Марусину избу, когда еще не смеркалось, и увидела ее лежащую на постели. «Что она все лежит да убивается?» — подумала соседка и пошла, чтоб вызвать ее, ан Маруси бедной уж нет: она лежит себе и простывает...

Сошлись люди и не могли надивиться, что такое случилось с бедной семьей Маркушенка, что в три дня не стало ни отца, ни матери, ни дочери! Многие заплакали, глядя на красавицу, которая лежала, как живая, сложив сама заживо руки и приготовив платье, в котором ее хоронить... И подружки все собрались и крепко ее оплакали; молодые парни говорили, что такой девки не скоро наживешь... Но один был, который с неделю уже никому на глаза не показывался: либо сидел дома, либо работал в поле, а теперь смело пришел в хату Маруси, когда она уже лежала на лавке, одетая и убранная в цветах, как невеста, сел и сидел тут безвыходно до самых похорон. Когда уже другие петухи пропели, то он все еще сидел против Маруси и смотрел на лицо ее, которое освещалось одною лампадкой, потом вдруг заплакал,

простился с нею, снял у нее с пальца медный перстенок и надел себе на палец, а ей надел свое колечко и опять сложил ей по-прежнему руки.

Поутру пришли люди, подкопали порог в сенях и сделали такой спуск и подъем, чтоб можно было пронести гроб. Затем принесли и порядочный выкрашенный гроб, потому что Маруся оставляла достатку довольно. Собрались девки, парни и старики со старухами и, вынеся покойницу, как было сказано, поставили в церковь, отпели и похоронили. Никого не осталось из Маркушенкиной семьи, и Маруси не стало; избу продали, и в ней живет теперь чужой человек, а об Марусе там и помину нет...

Пришла весна, красная, веселая, и тот же молодой парень, который обручился с Марусей-покойницей, частенько по вечерам прихаживал на могилу ее и там молился. Заметив однажды, что из могилы этой вырастает какой-то особенный стебель, с гладкими длинными листьями, Михалка стал присматривать за ним и поливать его; но как кладбище не было огорожено и туда нередко заходила скотина, то Михалка решился выкопать куст этот с корнем и посадить его в своем садике. Сделав это, добрый Михалка, который вообще очень любил цветы и разводил их у себя много, ходил и смотрел за этим кустиком, как за глазом своим; и чем более вырастал цветок, тем более дивился ему садовник наш и радовался, потому что он никогда такой травы не видал; листья вышли длинные, неширокие, гладкие и ровные, посредине один стебель, довольно высокий, а на маковке его завязывался цветок; Михалка радовался ему, как кладу. Наконец, накануне Иванова дня, к вечеру, цветок этот расцвел — белый, большой и густо-махровый; Михалка не мог им налюбоваться; сидел он при нем до поздней ночи, все на него глядел, а потом подумал: «Теперь тут тепло, а мне хорошо и весело, — зачем пойду в избу?», лег в садике своем под кленом, так что цветочек его стоял прямо перед ним и слегка кивал головкой от налетного ветра. Вдруг белые лепестки в головке цвета зашевелились, цветок опал и из него медленно поднялась, как в тумане, рослая статная девушка... Туман прояснился, и Михалка, не утерпев, вскочил и робко сказал: «Маруся!»

Она подошла к нему и, указывая на его колечко, сказала: «Кто обручился с мертвою, тот будь женихом и живой: ты мой спаситель, без тебя я погибла бы в вечных муках».

Сколько ни дивовались люди, что Маруся жива, а, поглядев на нее, надо было поневоле поверить. Недолго откладывая дела, сыграна была свадьба, и, говорят, не было на свете другой такой дружной и любовной четы, как добрый Михалка и красавица Маруся.

Не надейтесь, однако ж, девушки, на цветок этот: не любите чужих парней без ума и не обманывайте, не облыгайте никого!

ЧЕРВОНОРУССКИЕ ПРЕДАНИЯ

Отчего на Великой Руси так мало исторических преданий? Немногие памятники древности, которые тут и там встречаются, развалины, пещеры, курганы, городища, остатки загадочных укреплений редко напоминают русскому крестьянину исторический быт России: либо никто и ничего не знает об этих памятниках, либо скажут вам наобум, в самых общих словах, что тут воевали татары, литва, ляхи или даже какой-нибудь разбойник новейших времен, в котором не было ничего замечательного, хотя он со всею вольницею своею и обратился уже, через пятьдесят лет после казни своей, в какое-то богатырское, сказочное предание. То же самое находим мы в песнях великорусских: в них до того господствует лирическое направление, что между тысячами довольно трудно найти хотя одну эпическую, с каким-либо историческим преданием. На самом севере России сохранилось несколько более подобных памятников: видно, новгородцы, населившие Заволочье и Поморье, вынесли с собою тогда несколько более склонности к бытовым воспоминаниям; все племя это вообще и поныне отличается говором своим от всех прочих жителей Великой Руси и приближается, частью по произношению, частью по сохранившимся издревле выражениям, к южной Руси.

Что касается до сей последней, то она по направлению и духу воспоминаний своих в песнях, сказках и преданиях братски примыкает к соседним южнославянским племенам; не было, конечно, в том крае ни одного исторического события, которое бы не оставило по себе памятником песни или сказки в устах слепого бандуриста.

На реке Сбруч, пограничной между Россиею и Австрией, на чрезвычайно крутом и довольно высоком берегу стоит село Чернокозинцы, где видны поныне остатки каменного укрепления; направо от развалин этих, вверх по реке, находится замечательный самородный мост длиною в пять, а шириною до четырех сажен. По первому взгляду кажется весьма вероятным, что укрепление охраняло и обеспечивало переправу, особенно если предположить, что речка Сбруч, как и уверяют местные жители, теперь обмелела, но некогда вздымалась гораздо выше. Местное предание говорит, что это остатки замка князя Куриатовича. Он жил тут с сестрою своею, девицею. Во время татарского набега, когда замок захвачен был врасплох, князь принужден был бежать подземными ходами и скрыться в ущельях Сбруча. О дальнейшей участи его ничего более не известно; но один старик, из местных жителей, полагал, что он ушел в Польшу. Сестра князя Куриатовича, страшась татар, бежала через описанный нами самородный мост за Сбруч, в Галицию, унесла с собою значительное богатство, построила невдалеке, в глухом лесу, каменную церковь с келиею, где до конца дней своих молилась о пропавшем без вести брате. Говорят, что тамошние поселяне указывают поныне остатки этой церкви.

На том же Сбруче, на крутом каменистом берегу, есть селение Голенищево с ясными остатками небольшого каменного укрепления, среди коего находится чистый и холодный родник, снабженный богатою жилою воды. Крестьяне место это называют *Забытком*, но помнят и поныне предание, в котором частица истины смешана со странною сказкою.

В глубокой древности стоял здесь замок, доставшийся по наследству одинокой и сирой княжне, *произнесшей* обет девства. О ту же пору властвовал по соседству какой-то сильный и страшный владетель, бывший, сверх того, еще чародеем: никто и даже ничто не переносило его взгляда; он побеждал и разрушал глазами все, на что бы ни обращал взор; но

зато благая природа и взяла некоторые предосторожности: веки у чародея этого всегда были сомкнуты, за что он и получил прозвание *сонливого Баняка*; он даже не мог сам открыть глаз, а для этого нужны были два помощника, которые, став осторожно за плечи его, чтобы не встретить страшного губительного взора, осторожно подпирали веки сонливого Баняка золотыми вилочками.

Баняк-сонливый был человек самовластный, самовольный и свирепый: все должно было ему покорствоваться; малейшее противоречие возбуждало в нем неукротимый гнев и месть, а страшная чародейская сила, которою он владел, наводила ужас на всех, — и вся страна безусловно ему покорялась. Услышав о молодой прекрасной княжне в Голенищеве, он тотчас же вспыхнул: одной молвы о девственном обете ее было уже достаточно для возбуждения в своевольном Баняке неодолимого хотения подчинить княжну своей власти, заставить ее нарушить обет и выйти за него замуж. Самый обет казался ему личным для него оскорблением как нарушение безусловной его власти.

Баняк-сонливый послал к княжне посольство, приказав в довольно гордой, высокомерной речи требовать руки княжны. Она отказала. Он послал на замок ратных людей; но они ничего не могли сделать, потому что замок снабжен был съестными припасами в изобилии и, сверх того, ключевой водой. Нетерпеливый своевольный Баняк не стал выжидать конца этой продолжительной осады: он поднялся с наперстниками своими, прибыл в стан под Голенищеву, приказал себя поставить на таком месте, откуда виден был весь замок, и два человека из ближних его, достав роковые золотые вилочки, приподняли ими обвислые веки Баняка до самых бровей; одного этого взгляда на замок княжны было достаточно для конечного его разрушения; стены рухнули, дружина Баняка побила не только дружину княжны, но даже и всех жителей городка *Дивича*, стоявшего под замком княжны на берегу реки. Опустошение было таково, что ни замка, ни городка с той поры не стало; но зато в темные дождливые осенние ночи тени побитых жертв и поныне еще скитаются по долине, на которой стоял город, и долина эта поныне именуется Дивич; над городищем по воздуху проносятся тени бывшего замка и в толпе их светлый, лучезарный образ самой княжны. Она спускается в долины и утешает сетующие тени. Тогда слышатся вокруг топот конский, звуки неизвестных ныне рогов, клики и вопли и какие-то военные песни с припевом «идем на Дивич».

Долина Дивич расстилается по обе стороны Сбруча, и русской, и австрийской стороне; местами скалиста и лесиста и на западе упирается в отроги Карпат.

Поблизости местечка Черче, в лесу, находится какое-то городище, место, обнесенное земляными раскатами: его называют просто монастырем, уверяя, что в древности стоял здесь православный монастырь и что само название Черче происходит от слова «чернец», «чернецы».

В былое время, когда всякий засыпал под страхом татарского ночного набега и просыпался с молитвою и вопросом, не слышно ли чего о татарах, жители Черче узнали от бежавшего крестьянина, что татары ползут на них чешуйчатой змеей вверх по Днестру. Жители разбежались, спасая кто что мог, искали убежища в лесах и в пещерах, доныне еще видных в крутобереговом каменистом ложе реки Смотрича, который обтекает кольцом Каменец-Подольский. Но одна из жительниц Черче, молодая, недавно вышедшая замуж женщина, не могла поспеть за скрывшеюся толпою и, увидев, что татары уже рассыпались по улицам, едва только успела скрыться в вежу, то есть башню или колокольню, которая стоит и поныне. Там, под самой кровлей колокольни, молодница увидела целую грудку разной

утвари и домашнего скарба, спрятанного жителями от хищных татар, и в числе этих вещей было несколько пищалей. Увидав в то же время приближающийся поезд, в котором, как она догадывалась, должен был находиться главный вождь татарской дружины, и лишена будучи всякой надежды на спасение, она схватила в отчаянии одно из ружей и, намереваясь отмстить за гибель стольких земляков своих и за себя, прицелилась сверху через перила колокольни в татарского вождя, ехавшего наперед и одетого в самое богатое платье: выстрел раздался, и мурза татарский, пораженный пулею насмерть, упал с лошади.

Оглядываясь кругом убитого и не видя нигде ни одной живой души, ни даже следа дыма, который в первую минуту при общей тревоге никем не был замечен, татары подхватили убитого предводителя своего, ударили в рога отбой и поспешно от города отступили. Простояв в поле не более того, сколько нужно было для отдания вождю своему последней почести, дикие нашельцы, пораженные каким-то суеверным страхом, поспешили уйти назад и рассыпаться по необозримым степям своим; жители Черче вскоре возвратились и, к неизъяснимому изумлению своему и радости, нашли в целости все вещи, имущество, дома и даже забытых в хижинах детей.

Имя молодницы, которой приписывают геройский подвиг этот, забыто; но она благополучно возвратилась под кров домашний и своевременно родила тройней трех сыновей, которые получили прозвание *Троян*. Потомки Троян этих ведутся поныне; они крестьяне и сохраняют прозвание Троян, вместе с описанным нами поверьем.

notes

Примечания

Были и небылицы Казака Луганского. Кн. 1–4. СПб., 1833–1839; Повести, сказки и рассказы Казака Луганского. Ч. 1–4. СПб., 1846; Сочинения. Т. 1–8. СПб., 1861; Полн. собр. соч. Т. 1–10. СПб.; М., 1897–1898.

Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. М.; Л., 1961; Повести и рассказы. Уфа, 1981; «Бикей и Мауляна». Челябинск, 1985; Повести и рассказы. М., 1983; Кружевница: Повести, рассказы, очерки. Красноярск, 1986; Даль Владимир Иванович: Оренбургский край в очерках и народных трудах писателя. Оренбург, 2002; Даль Владимир Иванович: Оренбургский край в художественных произведениях писателя. Оренбург, 2004. В 1995 г. начато издание полного собрания сочинений в восьми томах.

Порудоминский В. Даль. М., 1971. С. 6. (ЖЗЛ)

В этом мы полностью солидарны с Ю. П. Фесенко, см., например, его статью: Некоторые проблемы современного далеведения // В. И. Даль — писатель и этнограф: Сб. научн. тр. Торжок, 2003. С. 12–26.

О биографии и творчестве В. И. Даля см: *Ильин-Томич А. А.* Даль // Русские писатели. Т. 2. М., 1992. С. 76–80; *Порудоминский В.* Указ. соч.; *Мельников П. И.* Владимир Иванович Даль: Критико-биографический очерк // Даль В. И. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 1. СПб.; М., 1897. С. I — ХС; *Фесенко Ю.П.* Проза В. И. Даля: Творческая эволюция. Луганск; СПб., 1999. *Матриевская Г. П., Зубова И. К.* Владимир Иванович Даль. М., 2002.

Даль В.И. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 1. СПб.; М., 1897. С. XCII–XCIII.

Там же. С. XCV.

Мельников П. И. Владимир Иванович Даль. С. XXVII–XXVIII.

Даль В. И. Полтора слова о нынешнем русском языке // Москвитянин. 1842. Ч. 1. С. 549.

Мельников П. И. Владимир Иванович Даль. С. XXXI–XXXII.

До запрещения книги в «Северной пчеле» печатается отклик, где оценен язык «Сказок»: «...Находим мы воображение живое и творящее, вымыслы, не выносящиеся за пределы понятий простонародных; и все это украшено, без излишества и натяжки, пословицами, поговорками, шутками и прибаутками истинно русскими, составляющими собою или черты ходячей нравственной философии народа, или блески его остроумия и природной веселости» (Северная пчела. 1832. № 244).

Фесенко Ю.П. Проза В. И. Даля. С. 103.

Там же. С. 151.

Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. VIII. С. 424.

Мельников П. И. Владимир Иванович Даль. С. XLV.

Даль В. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб.; М., 1880 (см. также переиздание: М., 1997).

Там же. С. 3–4.

То есть котле (Здесь и далее примечания В. И. Даля.)

Горшок.

Червонцев.

Воротах.

IIIar.

Род богатой кички.

То есть киргизы.

Люблю я этих переводчиков, которые все знают и все толкуют: на здешнем наречии «курд» или «курт» никогда не означало вора. Тут нельзя не вспомнить длинного рассуждения, в котором один ученый наш старался доказать, что *арал* никак не может означать островитого моря или моря острова, потому что остров по-турецки *ада*, а не *арал*. Очень похвально знать по-турецки, но непохвально спорить положительно, опровергать и даже переиначивать то, что написали другие, если не знаешь вовсе того языка или наречия, к коему спорное слово относится. Кайсаки, хивинцы и туркмены вовсе не знают слова *ада* в значении острова; собственно, остров у них *утрай*, а берег, материк суша, остров — словом, земля, в противоположность воды, действительно называется *арал*. Поэтому *арал-дингизы*, или *арал-дингиз*, скорее может значить островное, береговое море, чем междуречье, как утверждает строгий наш законник, тем более что последнее толкование, по свойству не турецкого, а здешнего татарского языка, нельзя допустить вовсе.